



Дожина Бема
2



Salamandra P.V.V.

**Борис
БЕТА**

ЛОШАДЬ ПАЛЛАДА

Избранное
Том II

Составитель
Александр СТЕПАНОВ

Salamandra P.V.V.

Бета Б. (Буткевич Б. В.)

Лошадь Паллада (Избранное. Т. II). Сост. А. Степанов. Подг. текста и комм. А. Степанова и М. Фоменко. Биограф. очерк М. Фоменко. Изд. 2-е, испр. и доп. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2020. — 140 с., илл.

Борис Бета (Буткевич, 1895-1931) — один из самых ярких авторов Дальнего Востока и «китайской» ветви эмиграции. Гусар, участник Первой Мировой и Гражданской войн, божественный литератор, бродяга и скиталец, Б. Бета объездил многие страны как паромный кочегар, работал портовым грузчиком и пастухом во Франции и окончил свои дни в нищете на койке марсельской больницы. Хотя литературные труды Беты ценили и отмечали И. Бунин, В. Ходасевич, Н. Берберова и многие другие, он при жизни так и не удостоился своей книги, а его рассказы и стихотворения долгие десятилетия оставались разбросаны по страницам дальневосточных, китайских и европейских газет и журналов.

Впервые выпущенное нами в 2018 г. двухтомное собрание сочинений Б. Беты дополнено в настоящем издании восемью рассказами и рядом стихотворений и малых поэм, в том числе первыми публикациями по рукописям. Издание также включает подборку мемуарных очерков, посвященные Б. Бете стихотворения и биографические материалы.

© А. Stepanov, состав, подг. текста, коммент., 2020

© М. Fomenko, подг. текста, коммент., биограф. очерк, 2020

© Salamandra P.V.V., оформление, 2020



**ЛОШАДЬ
ПАЛЛАДА**

...и книжку, что в том же
...сорт, сорны со своим содержанием
...взглядом. Какое-то
...о будущем
...вообразить себе
...!

Ничего мне не нужно.

Или вы не знаете, что такое

мое желание.

Вам нужно читать

Россию больше и счастливо

...
...отсутствие

**СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМА**

ТРУБА

В поход труба зовет октябрь —
Играет важно.
И спящий оживает табор,
А высь — бумажна.
Седло спотело сыростью осенней
И тепло — мокрым крестец.
Мне, неумытому, в трухе от сена,
Седлающему, вспомнился отец:
«Бориска, в пятницу в Казань поедem», —
Сказал он перед сном
В июне при вечернем светлом свете,
Перед окном;
И улыбаясь, кутаясь и ежась,
Забылся в снах...
Опять спросонок путаешь сквозь слезы
В пустых сумах.

ЛОШАДЬ ПАЛЛАДА

Опять слышать на заре
Сквозь мягкий сон укрытых глаз
Протяжность зовов на трубе,
Вновь неожиданных для нас,
Заспавших и на этот раз
Устав о воинской игре!..

Проснуться так: в окне мороз
Раздольных голубых просторов,
И миг приготовлений скорых,
И звоны на одетых шпорах,
И натошак от папирос —
Проклятый кашель без угроз...

А вышел — что твое вино,
Он ранью ковкой опьянит,
И снова в высоте звенит
И заливается труба,
И сердце ей опьянено,
Хоть холодеет на губах!

Пола тотчас же просквозит,
Походка звонкая легка,
И песня новая звенит;
Чья-то глупая рука
Уже засыпала овес,
И чешется, рассевшись, пес.

У двери теплых денников
Навоз подстилочных клоков
Дымится свежестью своей,
И стуки-постуки подков
Уверенные: из дверей
Выводят первого коня...

О, Господи, прости меня,
Что я опять желаю брани,
Что вот опять мое желанье
Проходит, славою звеня,
И смяты смертно зелены
Отменным полевым галопом
На страх застигнутой Европы!..

ОДА СОЛДАТУ

«A mes chers compagnons d'armes»

Я мертвый и гляжу на вас,
Один над площадью живою:
Внимание незрячих глаз
Над цветниками, над толпою.

Струят фонтаны и дрожат
Цветы сквозь радуги глядятся,
А люди площадью спешат,
Порою перейти боятся.

Ревут один другому вслед,
Замедлят, лаками блистают
Ряды бензиновых карет —
Афишки по следу летают.

И огибая цветники
Звенят трамваи возмущенно,
И вспыхивают светляки
На проволоках заплетенных.

А в вечер множество огней
Сияют, потухают, снова
Горят над мраком этажей
И ткут сияющее слово.

А по утрам плывет туман
Но все же на сырой скамейке
Усталостью угрюмой пьян
Хранит бедняк, поджав коленки.

А то у цветников пройдет
Неверной, зябкою походкой
Зевает, крестит темный рот
Девушка, пахнущая водкой...

И снова облачную шаль
Пронзит кинжал, слепя, сияя —
Опять мне никого не жаль
Но тень от статуи большая.

Я всадник. Подо мною конь,
Он тоже медный и несветлый.
Палит нас солнечный огонь,
Открыты мы дождю и ветру.

Мы подвиги свершали. Вот
Держу палаш рукою правой.
Единственный громоотвод,
Стоит на каске птица Славы.

Два гения у ног моих
Не устают трубить Герою:
Суровый на коне старик,
Слежу за громкою игрою.

И у подножья знамена
Склонились мне же строем медным
Великолепная война
В изображении победном.

Смертельно раненый лежит,
Украшен лоб его повязкой —
Но будет вечно, вечно жить
Солдат с конем, с орлом на каске!

Стоим над площадью живой,
И я и конь, всегда недвижны,
Над цветниками, над толпой
Благословляющие жизни...

Изображение побед,
Кто мимо них пройдет спокойно?
Спокойному и жизни нет,
Господь нам посылает войны.

На все его, Творца, рука,
Он — Промысел, а мы — как дети,
И муха, жертва паука,
Не просто попадает в сети.

И следует, коль крепкий дуб
Березы детство заглушает
И облако большое вдруг
Господне солнце закрывает.

И вот гляжу — проходит мать,
Коляску с сыном тихо катит...
Дано ли сердцу угадать
О пышнопламенном раскате?

Да, будет сила в трубаче:
Труба зовет — зовет Россия, —
И сладко плакать на плече
Родного воина и сына.

И слух о славе пролетит,
Орлу подобно, над домами,
И медный памятник стоит,
Сияет солнечное пламя...

Мне имени иного нет,
Как неизвестного солдата,
Я только памятник побед,
Меня поставил Император.

ДУША И СЕРДЦЕ

Без границы и без края
Верю, знал ты, умирая,
Моря вольные края...
Что твоя душа — моя.

И. Бунин

Сквозь сон напуган ознобом, круженьем,
Очнулся я. Один без сна.
Сквозь сучья черные так четко, без движенья,
В мороз светилась луна...

.....

Кто-то канул, захлебнулся,
Кладью, вещью упал, лежит,
А кто-нибудь усмехнулся
Стоя у этой межи.
И больно сердцу, еще обидней,
Когда уходишь в странный предел
Тот, кого сердца глаз увидел,
Кто для сердца сердцем же пел.

.....

Ибо серебрятся в душах человеческих
И уходят с ними с земли
Чудодейственные, чудодейские
Белопарусные корабли.

.....

Но сам я, носивший конника шпоры,
Ездивший в ухавшем броневице,
Все-таки думаю, что яростные споры
Мы будем кончать с клинком в руке.

ВЕСТНИК

Да, в этой лунной тишине
(Светлеют жалюзи у дачи),
Еще слышней, еще страшней
Напуганный стремглав прискачет!

Падет с коня, шатнется конь,
(Белеет мыло, храп белеет),
А облачное молоко
Луной осеребрилось злее.

И в запахах, любезных мне
(Дух кожи, пота) — дрожь отваги,
Прочту при лунной новизне
От пота теплые бумаги.

Поверх следов карандаша
Теней занятные движенья,
Но остро заболит душа
Конца почуяв приближенье.

— Ну, что же, если час настал;
Ну, что же, пусть приговорили!..
Уж выехали там с поста
И едут молча. Закурили.

Скрип кожи, скок и конский топ:
По темным клумбам — темный всадник...
А в небе серебристый скоп,
И пуст тенистый палисадник.

Владивосток. 1922

О лебедях, направившихся к югу,
В глуби лазури, в далях высоты,
О лебедях, напомнивших мне выюгу,
Буран в степях, которые пусты.

Ведь мы, — я понял, — с лебедями схожи,
Мы также совершаем перелет.
И ты, случайно встреченный прохожий,
К назначенному югу твой поход.

Случается, что так и не узнают
Иные — направление на юг.
Случается, что югом называют
Холодный край осеребренных выюг.

А также есть и те, что умирают,
Падут и не встают и не живут.
Не слышно им, как голоса играют,
И нет тоски, что их не подождут.

Их помнит память. Но несчастней те ведь,
Которые в спокойствии своем
Забыли знать, что каждый белый лебедь
Окликнут к югу солнечным огнем!

И вы, замороженная напевом,
Влюбленная в протяжные слова,
Вы тоже лебедь в оперенье белом,
И к югу обращенные глаза...

В глазах у вас, замороженных пеньем,
В их девичьей мечтательной тоске,
Угадываю ваше нетерпенье:
Скорее стать на солнечном песке!

ПРОШЛОЕ

1.

А память, как ветер, вдруг распахнет
И флагом откинет забвенья занавеску, —
И в рамки осенних, струною блестящих, тенет
Мы видим движение ласково снившихся весен.

2.

От подъезда вдоль панели
Синели армяки на козлах.
Небеса над улицей синели,
Вывески трактиров. Возглас
Смоется, как тонкий волос...
О, как грудь моя узка,
Как нелеп, как жалок мне мой голос
В пении твоём, Москва,
Вижу снова синий купол,
Белые на розовом карнизы,
Громы цоканья и стука
И октавы трама. Мерелиза
Катится, стрекочет форд.
Ванька щегольнет наречьем —
И опять, плывет, гудет
Плавный звон Замоскворечья...
А на Петровке мимо окон Трамблэ
Идет по асфальту женщина Камергерского!
Пожалуй, только она бы могла,
Душисто наряженная, нежная, дерзкая
Всегда родная парижанка Кузнецкого,
Она бы одна смогла
Постаревшую душу омолодить
Одним касанием плеча:
Подчинить-подтолкнуть, усадить,
На магического лихача...

3.

«Девятая Муза». И двухнедельник
«Дни и Труды»...
О, Москва, и в холодный пустой понедельник
Не можешь, неможишься ты,
Звон перезвоны к вечерне
В Охотном торопят закрыться
Снег на стенах. А неверный
Свет сладостно к вечеру мглился.

Ямб упадает — плавный звон.
И мнится: Александр Сергеич
Идет по набережной. Он
От ветра поднимает плечи,
Рассеяны его глаза —
То ямба светлая гроза
Умчала Пушкина в Осташков,
Где возле станции дормез,
И смотрит синеву небес
В дорожном чепчике Наташа.

Здорово, снег. С утра твой полусвет
Роднит меня с надменным Петербургом,
И тонкий шпиль над крепостью, над бургом,
В буран сквозящий, радостью воспет.

Темна вода и белоснежен снег.
И над Невой ненастной, влажно-гулкой,
Мосты в трамваях. Исаакий-купол
Над полем белых крыш венчает всех.

О, ясность ямба! О, прохлады нежность,
Твоя прелестная и редкостная снежность
Над городом великого Петра.

Светящаяся облачная память
Безвременного снежного утра
Печальной остротою сердце ранит.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТАНСЫ

Сон приснится: встанут синевою
Небеса над площадью Сенатской,
И, опять счастливый над Невою,
Из окна заслышу шаг солдатский.

Небеса над светлым Петербургом —
Нету города изящнее и строже:
Пушка Петропавловского бурга,
Над Невою — отголоски дрожи.

О Сионе музыка хрустальна,
Шагом едет конный полицейский.
Вот откроется и вот отстанет
Старый сад и белый дом лицейский.

Видишь слева, там живут цыгане,
Радостно проспектом проноситься.
Медленное у воды гулянье.
А на взморье улетают птицы...

В комнатах просторных и высоких
Темные картины и портреты,
Петербургской томности уроки,
Институтски девушки одеты.

Голос тих, шиньон благоуханен,
Падают лукавые ресницы.
Весь уездный <?>, скромно бездыханен,
Кавалер из корпуса томится.

Над Невою вскрики и туманы,
Вдоль каналов газовые нимбы —
Точно театральные обманы
Длятся час и проплывают мимо.

Черная карета проезжает,
Ветер развеивает пелерину,
Одинок горечь выражают
Блеск зонтов и сгорбленные спины...

Падает и ветренность и сырость
На просторы площади Сенатской, —
Жемчугом рассеянным открылась,
Снова поднимается загадка:

Ускакать не может он, капризный,
На коне чудесный император,
Давний герб для мужественной жизни,
Медный лик стремлением объятый!

СНЫ

Приснятся под утро порой
Бураны при месячном свете,
А то напряженно-сырой
С разливов сиреневых — ветер...

Раскрытый губернский парк
Так важно гудит, свирепеет,
Под вечер — и зябкость, и пар,
Но полдень на солнце пригреет.

И вы в ежедневном пути
Все та же — с портфелем, в тревоге.
А наши вдвоем «по пути»,
Вы помните? — осенью строгий

Раскрытый, сквозящийся парк
И споры о Бунине, Блоке
И ваше смешное *n'est ce pas*,
И ласковый зябнувший профиль...

КАМЕЯ

Мадонна может исцелить
Всю боль. И сердце — от камней,
И невозможно не любить
Изображение камей.

Резьбы листва, лицо бледно,
Святая опустила взгляд
И розовым сквозит, как дно
Куда все горести глядят:

Держу дрожащею рукой
И на камею щурюсь в свет, —
О, розовеющий покой
Которым я живу во сне,

И о котором тосковать
Раздумия приходит час...
Мои угрюмые слова
С глазами вашими встречались.

ПАМЯТЬ

И странно подумать: ты был — будто снился...
Ты был и исчезнул. Я помню сквозь дым,
Как утренний воздух туманно светился
Над садом весенним, высоким, пустым.

И утренний воздух так ясно показывал сучья,
И легкая зелень сквозила в выси...
Ты — умер, ты — память. И было бы лучше
Чтоб памяти образ туман погасил,
Чтоб ты мне не снился. Чтоб я не тужил.

ОБРАЗ

Я вижу свет. Я слышу жизни шумы.
Вот блеск стекла. Вот голос за окном.
Я чувствую себя. Я чувствую, за стулом
У занавески край шевелит сквозняком...

Но будет вот что: станет непонятным
И книги шрифт, и кожа на руке.
И я уйду — без подписи, невнятно.
Как запах лип.
На сквозняке.

СОСЕДСТВО

Тогда лицо повесят в галерее,
А дух возьмут служить в библиотеках,
И будут говорить о Гулливере, —
И на лицо придет смотреть аптекарь.

Но я живу ведь. Просто существую
И так же затрудняюсь каждый день.
А ветер вешний дует и пустует,
И облака плывущие — в слюде...

Вот я, как нищий, стыну без вниманья,
Вот я шофер, который без лица,
И я солдат и по-солдатски ранен, —
И нет героя, нету подлеца.

Ах в жизни все рассеянно и просто —
Соседа замечаешь ли зрачки?
И только иногда движенья рослых,
И только иногда мелькнут очки.

И знаете ли: дух, который спрячут,
Которым будут любоваться строго, —
Он так тоскует и ребенком плачет,
Глазами вашими расстроен!

Какой-то голос постоянный
Меня зовет по вечерам.
Гляжу на полусвет стеклянный,
На белый крест белых рам.

Пожалуй, я (иначе кто же?),
Тюремно мрачен и тосклив,
Глядит, так на меня похожий,
Брезгливо рот перекосив...

...И ветер развевает флаги,
Показывая их цвета.
Не город, а какой-то лагерь,
И лагерная суета.

И тут же возле, с ними рядом,
Солдатский косолапый ряд.
Японцы, угольные взглядом,
Опять насмешливо глядят...

НАПИСАННОЕ В ТАЙФУН

I

Как же придумать приятные нежности?
Медленный взгляд устремляя на вас?
Ласково смотрится женская вежливость,
Кружится ветренная голова.

Словом, надумал: не стоит влюбляться, —
Как отвечают: увы, не танцую;
Так же когда-то безмолвные прятались
В зелени статуи и статуи...

Горд, как араб, и забавно неловок, —
Да, неудачливый и лицедей!
Лучше забыть о беседках лиловых,
Зелени гипсовых голых людей.

Может, труднее, но все-таки лучше —
Мимо бессонниц и ломанных рук
Лучше пройти, посмотреть и послушать,
Как занимаются мукой вокруг.

II

В такую погоду,
Изменит походку
Ленивый, и тот.

Но снова красиво
Летящее сивое,
Червленность цветов!

В погоду такую
Все дома, тоскуют,
И сонно в домах.

И шорох окрестный,
Ветровые песни
И будто набат, —

Все залпы просторов,
Все жалобы споров
Мы слышим, не злясь.

К диванной подушке,
Дремотно потушен,
Сощурился взгляд.

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Пожалуй, буду много лет
Искать забавы в наблюдениях...
А может, старый пистолет
Окажется, как избавленье.
И соберет троих зевак
Мой труп бульварный, но печальный.
Истому смертную в глазах
Прикроют старенькою шалью.
Отдаст платок с сутулых плеч
Не очень трезвая девица:
Есть все-таки кого жалеть,
Есть все-таки чему дивиться.
И буду жалостно глядеть,
Припоминать: ужель любила?
И вот, примчавшись, светит медь
Больничного автомобиля.
Возьмутся тут привычных два
И под руки и под колена,
И неживая голова
Опять покажет изумленье.
Наступят те, трудясь, на шаль,
Упавшую от их движений.
И будет им еще мешать
Рук неживое положенье.
И та, пьяна, поднимет вещь,
Пыль отряхнет, плечо оденет
И побредет — куда, Бог весть,
И у прохожих спросит денег...

ГАЗЕТНАЯ ХРОНИКА

Мне только проехать в какой-нибудь город
И к столику сесть у трактирных дверей,
Почудится, — верю, — медлительный голос
Потерянной Музы моей!
Она улыбнется, она обопрется
О стол, у которого я.
И глаз мой ответно, прищурясь, смеется,
Стола различая края.
И серьги, и голос, и острые ногти,
И запах дождевика, —
И радость дождю и застекленной копоти
Так велика!
Выходим на сырость, находим машину,
Дрожащую потным стеклом.
Отважная женщина, пьяный мужчина,
Кому же сидеть за рулем?
И станет кидать нас, нести перекрестком,
Окликать — всем на виду!..
И вот на мосту не рассчитаны доски,
Перила падут..
И в речке холодной, той глинистой речке,
Сентябрьски легкой, простой,
Весь мокрый, стеная, ползу, изувечен,
Чтоб лечь мне с подругой, с сестрой.
Мы пьяные были, и я был пьянее,
А пьяным дорога легка.
Но странно, зачем же несчастье с нею,
И так изменилась щека?

СКУКА

Опять гудит утробная труба
Над бухтой, туго отзываясь в доках, —
То сероглазая моя судьба,
Она уходит от меня без вздоха.

И так, без спутницы, один, пустой,
Иду. Еще задумаясь, не видя
Как улица несется суетой...
Тебя я вспоминаю, друг Овидий.

И жажда пенья, чтобы поразить,
Остановить разгоряченный город
Высоким голосом жалеть, грозить, —
Вдруг оживет, как истощенья голод.

Увы, я знаю, понял хорошо,
Что нету места в бурных заседаниях,
И если в море пароход ушел,
Живу опять в дремоте ожидания.

10 июля 1922 г.

ВЕТРА И ОБЛАКА

Когда от жадности сгорая,
Испепеляется закат,
И зорю звонкую играют
Для всех солдат и несолдат,

Когда в простор истлевший запад
Пронзит зеленая звезда, —
Вдохнешь высоко влажный запах
От логовища и гнезда!

Опять, как бог, спокойно скрылось,
Ушло в лимонный, теплый край, —
И птицы тяжелеют крылья
И, право, добродушней лай.

Но мне не смеркли, а тревожат,
Сквозные жизнью облака —
И мне ли конский шаг стреножить,
Парного выпить молока?

Послушайте, поедem к богу,
За облаками — до утра?
Высвистывают пусть тревогу
Всегда отважные ветра!

РАЗГОВОР

После постигаются отравы —
Ах, отравленный не сразу прозревает, —
Точен крест отчаянья у края,
Ветренна морозность зоревая.

Но, счастливый, я настойчиво живучий:
У креста Христа лежу и оживаю.
Счастлив, кто вот так яды изучит!..
Может быть, случится то же с вами.

Показать поэзии причуды:
Точен крест, христосова зоря, —
Голос ваш, глаза и ваши губы,
Мучая, пленили звонаря.

И торчит, чудака, на колокольне,
Пьян и странен, на ветру звенит —
Голос медный ветром вешним гонит,
Метит благовест на мезонин...

Но и то не так, и все иначе,
Разве я похож на звонаря?
Стало быть, все это значит —
Поэтический наряд.

ФОКСТРОТНАЯ ПОЭМА

Часть I

Вечерней городской порой,
Спустившись от высоких лестниц,
Над тротуарною игрой
Кто молодой заметит месяц?

Клянусь, и я рассеян был —
Остерегаясь летных светов,
Позабывая, не следил
Возлюбленную всех поэтов.

А кажется, она плыла,
Заоблачная, над домами —
И все -таки она свела
Меня, рассеянного, с вами.

И ваш изнеможенья рот,
Светящиеся краской губы —
Медлительный ваш поворот
Явился обликом суккубы.

Лик нежен пудрой голубой,
И над ушами мед без соты...
Вы были заняты собой
До сумерек, когда фокстроты

Поют отменно при огнях.
Вихляясь, пары выступают,
Став угловатыми, обняв
Друг друга, ступят, отступают,

И ваши полные белки,
Цвет синий относили томно,
И шелком бледные чулки
Сквозили, теплые, нескромно.

И белая моя душа,
Как вы, одна пошла на поезд,

Но на плечах был синий шарф,
Концами спущенный за пояс...

Куря и опьяняясь в дым,
Я о стену рукой оперся,
И, занят мельком золотым,
Я слышал остро пульса скорость.

И ваши влажные глаза,
Косясь, желанью отвечали,
А тут вернулась, шарф неся,
Моя душа в своей печали.

Но что печаль! Легко ладонь
Спустилась по стене — невольно
На шелк, что кажется водой:
Сквозь шелк я тело сжал невольно.

И синий взгляд не бросил стрел,
А девий рот не ужаснулся,
А я усмешкой окривел,
И, усмехнувшись, пошатнулся.

Часть II

Не уставали танцевать,
Ступать, и звать не уставали,
И стали паром застывать
Зеркальные стенные дали.

И медленней стремили свет
Шары отвесные танцорам,
И я, скучающий поэт,
Соскучился над разговором.

Провел. Угрюмо проследил,
Как горло нежное глотало,
И глаз, сощурясь, тоже пил,
И сквозь стекло губа не ала.

За локоть взяв, повел еще,
Сам щурясь и остерегаясь —
И била в щеки горячо
Воздушная теплицы завязь.

А на крыльце отважный мрак
Свободной встречей устремился,
Серебряный слепленья знак,
Автомобиля — задымился.

Щек голубеющая смерть
И явная в глазах истома,
Мне были, нежная, поверь
Заветней дорогого тома

Учителя моих стихов,
Чей светлый голос зависть губит...
Была пора для петухов,
Но город петухов не любит.

И мы пошли одни и прочь
От музыки и мотокаров.
Раскинутая в звездах ночь
Зашлась в бензиновых угарах...

Луне холодный туалет
Свечей нас отразил на синем,
И серый с бахромою плед,
Свечу с размаху погасил он.

Твоя прохлада в темноте,
Она так жадно в пульсах билась,
И, устремляясь к наготы,
Ты надо мною наклонилась.

Часть III

И день позвал. И день прошел.
Насытили иные встречи,
А память осязанья шелк
Напомнила мне в поздний вечер.

И белая моя душа
Сквозь дрему встала, беспокоясь,
Расправила свой синий шарф,
Концами спущенный за пояс.

А я, очнувшись, закурил.
Еще задумался над дымом —
И вспомнил прорези перил
И свет, что сделал нас седыми...

Но не было во мне тоски,
Оставленной на туалете...
(Что впалые твои виски
При зябком серебре рассвета...).

И не было нисколько жаль
Покинутой, продажно нежной,
И в клетку серенькая шаль
Казалась старой и небрежной.

Часть IV

Вот под окном немного слов
Спел итальянец, в просьбе замер...
Да, полдень улицы высок,
Асфальт в сияньи под глазами.

И будто в мрак — кофейный тент
Меня позвал на простоквашу.
Я шляпу снял в прохладе. Вашу
Заметил тотчас: белых лент

Была улыбка и кивки.
Вы поднялись, пошли для встречи,
И право, больше старики
Оглядывались вам на плечи,

На угловатость, удобу,
Изнеможение разврата,
И, пудрой бледная, в гробу
Представились вы очень внятно...

Пробившись цепко до меня,
Неся литую шелком руку,
Под тентом, но в сияньи дня
Зачем вы протянули муку?

Рассказы ваши в темноте
Заговорили вдруг на память,
И лоск на вашей наготе
Почувствовал я под губами.

А голос наяву спросил
Мое здоровье и успехи,
И не было усмешке сил, —
Был тент, толпа, лазурь в прорехе, —

Но усмехнулся, закурил,
Вы вытянули сигарету,
Гляделись прорези перил
Над пыльным у асфальта светом.

И заиграли тут опять
Острейший и милейший танец.
Я стал, нахмурясь, напевать,
Ногтей разглядывая глянец.

И взгляд на вас не поднимал —
Кивал, кивал меж двух затяжек
И снова глухо подпевал
Мотив, который был протяжен...

И не было во мне стыда,
Что я сижу с продажной тварью
Я знал: что если вас ударю —
Вокруг не вспыхнет суета,

А скажут: а, семейный спор, —
Лакеи нам укажут двери,
И первый же таксомотор
Предложит разомчать потери...

И заостря плечо, застыл.
Молчал. Невольно видел пудру.
Протяжное оркестр ныл.
Стаканов просияло блюдо.

И бледная моя душа
Рвала перчатку, беспокоясь,
И с плеч повис, синяя, шарф,
Концами заткнутый за пояс.

ГОЛОС

Летают в воздухе святом,
Неслышно пропадают птицы.
Над ровным лугом — желтый дом,
А дух на воле и томится.

Есть в облаках сиянье льдин,
В пруду метнулась рыба кругом,
И в этот полдень я один
Дышу томительным испугом.

Так жадно думаю о Вас,
И расцветают все движенья,
Далеких губ, далеких глаз
Влиятельное выражение.

А вот счастливая рука:
Она имеет тяжесть тела;
Святая кровь — ее река —
Высоким шумом прошумела.

И смелый голос надо мной
Поет неслышными словами,
А небо с той же синевой
И уплывающими льдами.

1924
Шанхай

РАССКАЗ

Убедился, как странно любят
Удивительные глаза,
И об этом в вечернем клубе
Я приятелю рассказал.

Но приятель меня не слушал,
Но приятель в стакан смотрел.
Я не выдержал: встал и вышел,
Уронив стакан на столе.

Пусть над городом в тысячах звезды,
Пусть по городу улиц огни:
Он со мной — этот полдень березовый
И сквозняк апрельский, и пни,

И в лесу сквозном мы — одни...

Харбин

НА ОТЪЕЗД

М. В. К.

I.

Берег пологий, пустынный, вечерний и узкое взморье, —
Будто в России, в деревне, в лугах, —
Небо вечернее дымчатое и простое,
И зябкость осенняя славно легка.
Озябнув, пошли мы от берега. Фокс
Залаял, белея, помчался от берега.
Ваших, кудрявых, коротких и легких волос
Касалась вечерняя свежесть. Я бережно
Вел Вас навстречу луне
По дачной осенней и поздней дороге.
Звенел
Ваш голос в безлюдьи, при лунной тревоге. —
И снова
Томленье скитаний, пространства, пьяненья и одиночества
Детски уснуло...
И мне захотелось пророчества.

II.

Представьте, что мы собрались
На лавочке той у ворот — говорить о войне, о Сереже, о прошлом, о Боге, —
Ваш голос: «Борис,
Давайте-ка, Бога не трогать!»
И право. Пусть мирно висит в изголовьи кровати,
Пусть мирно лежит на груди на цепочке,
Пусть помнится вместе с Жар-Птицей Святое Распятье
И свечку Казанской поставить вдруг хочется, —
От тех туркестанских Кирков,
Где были в мешок меховой вы младенцем защиты,
До этих поспешных скитальческих буйных годов,
Такая простая и добрая всюду защита!
И верится мне: непременно увижу, услышу:
Быть может, и там, в Ушаковском, в аллее, под липами,
А может, под тентом кофейни в бульварном ущелье Буль-Миша,
А может, на Курском вокзале меж суетою и криками
Ваш оклик заставит остановиться...

УСАДЬБА

Еще на родине моей
Цветет ковыль.
Отважен океан степной
На много миль.

И наплывают острова:
Над ржами — крест.
Воспоминания — трава
Растет окрест.

На выгоне такая грусть;
Трава и скот,
Щавель пощипывает гусь,
А небосвод!..

А небосвод огромен там, —
О, небеса!
Покой лишь этим небесам
И чудеса.

Чувствительней закатов нет
Страны родной
И нету яростней комет
Перед войной.

И нет безлюднее путей
И уже нет,
И... вдруг под крышею ветвей
Кабриолет.

Приплясывая, пятит конь,
У девы страх.
Но серафический огонь
В ее глазах...

Так едет из столицы франт,
Умен и глуп.
Влюбляется в лиловый бант
И в строгость губ.

И приезжает кушать чай,
Везет визит.
Давно терраса при свечах,
А он сидит.

Тут просят гостя ночевать.
С свечой ведут —
Какая странная кровать,
Какой уют!

Как много запахов идет
И столько звезд —
Да, кажется, весь дом плывет
В кругу берез!..

Встает и ходит босиком,
Глядит портрет,
Беседует со стариком,
А сна все нет.

А вот и пламенный восход
Стену зажег,
Шумит усадебный народ,
Гость позевнул и лег.

Шанхай.
Ноябрь 1924 год

СЕРДЦЕ

Широких улиц и акаций белых, —
Английских зданий плющ и тишина
И вывеска, начищенная мелом, —
Окрестность сновидением видна.

Прохлады пароходные конторы,
Над ними флаги ветер с моря рвет,
А с бухты, где виднеются просторы,
Могучий голос медленно зовет!

Трамваи, огибающие скверы,
И статуя на площади живой,
Проходит это мимо ясной веры,
Что важен мир разительно-иной.

Гляди, мой друг, за ограждение мола,
Гляди за колокольню маяков,
На профиль океанского престола,
На очерки далеких облаков.

И нас с тобой обманывали чувства:
Та женщина единственной была,
Тревожа воплощением искусства
Ах, сладко целовала и лгала.

Туман спускался на дороги наши —
Так облачность любовная сильна
И карий взгляд какой-нибудь Наташи
Поил траву губительного сна.

Ветра вдали смыкались, как ограда,
Скрывали волю томные леса,
И было больше ничего не надо —
Лишь губы милой да ее глаза...

Но оживала, просыпалась скука,
Она оглядывалась, как гроза, —
Ты размыкал неискренние руки
И не гляделся в лживые глаза.

Прохлады пароходные конторы,
Высокий флаг свернет и развернет
Высокий и упрямый ветер с моря
И зов протяжный с пристани несет.

4.6.24 г. Rakatan

на неистова, содржајљивостју и доб
и светом мир еце горше
Примуря енка свету харуца
Арозлазновел елнис мориски првотворе
и расуелсотори збурба плаза
на оидуватмукиса и морост

Тън и мѣсѣцъ, и годъ [★] POSTAL
 Тамъ и нѣтъ погуба вѣка
 Оумирае вѣкъ, оумирае Адресе
 И прозвѣтъ въ свѣтъ адресъ

1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331

..... день
Разбудит, радует; тревожит
Блаженства, созерцательности лень,
И светлый мир еще дороже.

Прищуря веки, вижу паруса,
Прохладный цвет морских просторов.
И расцветают девичьи глаза
На отдувающихся шторах.

Где в мыльных прядях прыдала волна
Там <штилем?> паруса смиряет —
Отменны блеск, отменны цвет; она,
И брызги в соль лишь претворяет!

Бейрут май <1>926
Кочегар Борис Бета Буткевич

БАЛЛАДА О ЧУЖОМ НЕБЕ

Такие голубые дни,
Что озаряются и ночи...

На этом свете мы одни,
Нам мчит автомобиль что мочи,
А за решетками дерев
Прносятся огни узилищ,
И, взгляды к небесам воздев,
Глядим мы на Звезду-страшилище.
Такая зоркая звезда,
Недобрый глаз в лучах утрюмых, —
Припоминаю час, когда,
Скрываясь в облаковых дюнах,
Жестокости бессонный глаз
Глядел на наши поцелуи.
Да... В небе пепельном погас
Стихающею аллилуйей...

Но мне милы твои глаза
И электрическая бледность,
Их кажет новая гроза
(Мелькнет и открывает бедность).
И бьется пульсами мотор,
Кричит, остерегая жизни,
И снова прокричит в упор:
— Эй, потерявшие отчизну!

Тебя я провожу домой.
Тыходишь за решетку к пальмам.
Останусь я один с собой,
И с небом, будто бы печальным.
Накатан улицы асфальт.
Маркиз соломенных ресницы
Рассматривает хмуро взгляд,
Определяя, как темницы.
На аттике твоём темно, —
Гравюры, полумрак и книги,
Закрыто с вечера окно, —
О, благосклонные вериги!

Сядишься, и скрипит лонгшез,
Подушку под затылок прячешь,
Вздыхаешь и считаешь шесть,
Глядишь и без рыдания плачешь.

А я иду путем моим
Посередине по асфальту,
Я чувствую себя глухим,
Припоминаю по Уайльдду,
Как Лондон ласково живет
Утрами от бессонной ночи,
И... вот трамвайный гул плывет,
Цикад веретено стрекочет.

Не нахожусь сказать, кто я,
А просто имя называю,
И город, где семья моя,
По временам позабываю.
А, может быть, и помню я
О матери и о невесте,
И есть в конверте у меня
Эмалевый крестильный крестик.
Но нету дела никому
Опрашивать и предлагать мне
Исход несчастью моему, —
Я твердо знаю: люди — камни,
А есть похожие на пыль,
На студенистую медузу,
И дней моих святая быль,
Она мои лишь Сиракузы.

Так, милая моя, и мы:
Я вижу Марс, целую слезы,
И электрические тьмы,
Столбняк несущие и грозы,
Отважно отвлекут меня
К морям соленым, к сладким винам,
И, равнодушием пьяня,
Подарят пеньем соловьиным...

Envoi

Знай, у подножия антенн,
Где скрипок скрип и пляшут искры,

Весь этот мир, как детский плен,
И ты узнаешь в вечер мгlistый.

Ш<анхай>. Сент<ябрь>. <1>924.

МАНЬЧЖУРСКИЕ ЯМБЫ

1.

Ну да! Еще не так давно
В мое раскрытое окно
И в дверь на цементный балкон
Вставал июньский небосклон.
Маньчжурский неподвижный зной:
С утра ленивая пора,
Лимонов профиль вырезной,
А во дворе — детей игра...
И плыл дрожащий горизонт,
И млели там зонты деревьев,
И солнце — огненный орех —
Опять слепило горячо.
Опять стремительный дракон
Взмывал в лазурь, на высоту,
И делался горяч балкон,
И пронизала пустоту
Огня небесного искра,
И приходила в мой покой,
Касалась легкою рукой
Тоска (она любви сестра).

2.

Ну почему бы не поплыть,
А то отправиться пешком,
С бродячим за спиной мешком.
Туда, где с башнями углы
Оглиненных кизячьих стен,
Где вовсе раскрывает свет
Испепеляющий дракон;
В бумаге поднято окно,
И на циновке детский стол,
И флейта плачется светло,
А музыкант на ней — слепой.
Проедет в толстые ворота
Мешками полная арба...
Коней дрожащая губа,

А шея стрижена, крута,
Извозчик по пояс нагой
(И как мала его нога!),
А там стреляет кнут другой
И — впряженных коров рога...

3.

Не раз задумывался я
Уйти в глубокие края,
И в фанзе поселиться там,
Где часты переплеты рам;
Бумага в них, а не стекло,
И кана под окном тепло.
На скользкую циновку сесть,
Свинину палочками есть
И чаем горьким запивать;
Потом курить и рисовать,
Писать на шелке письма —
И станет жизнь моя ясна,
Ясна, как сами письма.

1923
Харбин

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КИТАЮ

Toi, qu'importune ma présence,
A tes nouveaux plaisirs je laisse...

de Parny.

У драконьих ворот Пекина
(О, драконы, раскрывшие пасть)
Проживает царевна одна
И ее не по силам украсть.

Ах, мечтать опостылело так,
Это терпкое очень вино, —
Шелестящий прохладно в кустах,
Уноси и меня заодно!

Я увижу огромный Пекин, —
Неживые чудовища стен, —
На осле (позавидуйте, Кин)
Протрясусь в охраняемый плен.

Императоров, в верстах, дворы,
Понастроенный всюду фарфор —
Это сон от какой-то игры,
Это сон развернулся в упор.

Но, конечно, высоких озер,
Их фарфоровая глубина
И дракон, что язык распростер,
Разве девушка этим полна?

Вон по плитам, что так не равны
(Попечалься о плитах, поэт),
Будто конь настоящей страны
Устремляется велосипед.

По-старинному плачет вода
(Не забудь о фонтанах, поэт),
Едет девушка гордо одна,
Направляясь в университет...

Социологу смысл для статьи?
Нет, признаться, иное пою:

Напеваю мечтанья мои,
Напеваю тревогу мою.

Понимаете: пахнет избой
(Удивительные чудеса!)
Не в отеле, где вымытый бой,
А у фанзы саманной: коса

Это то же, что скобку носить,
И с курмою роднится армяк,
И тончайший напев голосит
Кто с ханы или с водки обмяк.

О, божественная простота
Поднебесных повсюду людей,
О, мечтательная острота
Деревенских стариннейших дней!..

Если начаты были стихи
О царевне в плену Пекина,
О ином — не по воле руки,
Не случайно нырянье до дна.

Это пела, представьте, душа,
(Это, знаешь, грустила она)
О дрожаньи простом камыша,
О полях, где сейчас тишина.

И о городе, и об огнях,
Что драконовым пылом хмельны,
О трубящих торжественно днях
Что не станут милы и родны.

19 мая <1924> Чжалантунь.

ЖЕНА

Изображенная в историях,
Божественная старина,
Там держит статно факел Глория,
Непобедимая жена.
И запахи, блаженно горькие,
Давно разрезанных страниц, —
Не солнце, а венец Георгия,
В глаза, опущенные ниц.
Описанные там страдания —
Исполненные чудеса,
Глядят лишь дети в годы ранние
На тамошние небеса.
Метнется прах столбами дымными,
И бьются воины, пока,
Украшенные серафимами,
Не уплывают облака.
А то встает луна червонная,
Прохладная встает луна,
И дева ждет, встречает воина,
Бледна затем, что влюблена.
И снова прозвенит оружие
(О, призрак боевой — туман...),
Сражается во время ужина
С соперником Ковдорский тан.
Но даже смерть — походу точная:
Кому трава, кому — постель,
Всегда зеленая и прочная,
Восстанет на могиле ель.
Воспетый славными Сервентами,
Проходит призрак на стене,
Опрошен глупыми студентами
В похолодевшей тишине...

Так сердце не устанет мучиться,
Узнав о славных временах,
И верному покою учится,
Уединившееся в снах.
А вдруг блаженное желание,
Предначертание видно,
И бьется пуще сердце жадное,
А воздух — песни и вино.

Конечно, нет еще, не вымерло
То солнце счастья и беды —
То голос океанский стимера
Гремит над пропастью воды.
В Сицилию, иначе — в Канаду,
Банкок, Сполато — все пути,
И бьется пуще сердце жадное:
Еще стремиться и найти.
Обречены и будем странствовать,
То плавать, то перелетать,
И покоренными пространствами
Святую жадность утомлять.

Тогда опять луна червонная,
Прохладная, взойдет луна,
Покажет тихо бледность воина
И ту, что снова влюблена.
Он падает, она шатается,
Не в силах тело удержать,
И, благосклонная, касается
Целует жениха, как мать.
И ветра в тишине не слышится,
Но пахнет росами трава,
Туман приходит и колышется,
Да слышны женщины слова:
— И ныне, присно будут воины,
Во веки вечные веков,
И будут руки беспокойные
Томиться тенью облаков.
Упрямые и благородные
Свершают подвиги свои
Во имя Неба, имя Родины,
А то из страха и любви.
Так, имена не одинаковы,
И разноцветны знамена,
Хитро украшенные знаками,
Но я — единственно одна.
Не многие ли смертью сгинули,
Но все не кончилась война,
И древними воспета гимнами
Непобедимая жена.

Шанхай
Ноябрь 1924 г.

ТАЙНЫ БЕЗЫМЯННОЙ БАТАРЕИ

Современный коллективный роман

— Господин Андрей, вас преду-
преждают.

Молодой человек невысокого роста, одетый в комнату при японской фотографии господином Андреем, под-
сел на хорошем извожнике к кафе-
"Модери" на Китайской улице. Рас-
справившись, он рысцой перебежал
коридор в дверь и—вступил в зал
Зеленой. Оглянувшись, он направил-
ся налево, там одиноко сидел угрю-
мый, похожий на борца, господин в
темном пальто с котиком. Одутлова-
ное лицо было украшено висячими
жирными усами, рачьи глаза смотрели
строго.

Ага, — сказал он, пожимая руку
господину Андрею. — А Глеб?

— Глеб... ему нездоровится, — от-
ветил с некоторой заминкой госпо-
дин Андрей и придвинулся поближе
рыжему: — вам известно — Локутовой
уже?

— Неправда, — ответил рыжий, гля-
дя на улицу.

— Как неправда? — сдвинул на за-
лок шляпу господин Андрей.

— А вот как, — и рыжий протянул
ему мятую бумагу.

Это был телеграфный бланк. Руки
господина Андрея издрагивали, — он
прочитал: „высылайте материал в ад-“

рес Кроткова С. Васильем несчастье
посоветуйтесь с доктором. Нина“.

— Что за ерунда? — отозвался на
энец, господин Андрей. — Я ничего
не понимаю!..

— А я так отлично все понимаю
— возразил спокойный рыжий госпо-
дин.

— В чем дело, послушайте, Зе-
леный? — сказал господин Андрей
почти умоляюще.

— А вот в чем, — ответил Зеленой
откашлявшись, поправившись на
железном стуле, он сделал зна-
чительные глаза, — но ему мешал
официант.

— Господин Иванов, вас в теле-
грамму, — сообщил официант, почти
смирно склонившись.

Некоторое время господин Андрей
оставался в одиночестве. Он о чем-
то усиленно думал, а затем слыш-
ав запах и достал бумажник, взяв-
ший им у Глеба; бумажник был из-
рядно толст, он возбуждал любопыт-
ство. Но тяжелая рука легла на плечо
о любопытному и низкий, пивной
голос Зеленого прохрипел на ухо.

— Господин Андрей, вас преду-
преждают.

Борис Бета.

ТАЙНЫ БЕЗЫМЯННОЙ БАТАРЕИ.

СОВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ РОМАН.

Современный политический
коллективный роман

Это захватывающего интереса произведение не принадлежит перу одного автора. Оно есть результат продуманного анализа пережитых событий, сделанного несколькими авторами. По затронутым темам, фигурам и обстоятельствам роман этот не лишен и большого чисто исторического интереса. В нем отразилась жизнь последних годов не только Владивостока и Приморья, но и жизнь России, Японии, Китая. Каждая глава романа имеет вполне законченное целое. Отдельные главы связаны друг с другом только единством основной темы, одними и теми же главными героями и действующими лицами.

ПРОЛОГ,

из которого читатель узнает, что побудило группу лиц заняться изучением тайн «Безымянной батареи»

Дырявые, в сырую погоду присвистывающие и хлопающие ботинки, поношенная кепка, валявшаяся, видимо, не раз в лужах грязи, смокинг, приобретенный за пиджак на толкучке, брюки, состояние которых таково, что нельзя снять пальто, и пальто, которое нельзя тоже снять, ибо оно так ветхо, что снова бы его не одеть.

И вместе с тем гордый вид свободного независимого человека.

Сегодня есть возможность заработать полтинник. Даже это очень легко и нетрудно. Больше того — полтинник уже заработан, легко заработан свободным трудом, путем гениального применения одного только ловкого оборота и незаурядной смекалки.

Произошло это так.

Впереди по панели шел свист, затем следовало пошмаркивание давно нечищеным носом, потом одновременно выдвигался козырек кепки и довольно солидный, годный и для Ллойд-Джорджа нос. В самом конце сего шествия следовала фигура хозяина носа.

Душе было весело, но зато в желудке со вчерашнего вечера была одна грусть.

Группа воробьев на навозной куче уже завтракала, лакомясь даровым угощением. Солнышко грело так, что через очески ваты проникало до ребер. Мимо проехала телега с свежим, только что покинувшим печку хлебом, а в витринах висели колбаса и сардельки, такие же вкусные, как и недоступные. Все манило и раздражало. Прекрасная и радостная жизнь и все было бы отлично, если бы каждый шаг не зависел от денег.

Вот большой дом самого богатого человека в городе. Владелец его, видимо, еще нежится в мягкой и удобной постели, а слуги с самого раннего утра заняты работой на своего господина.

Дико визжит поросенок, которого режет белоснежно одетый повар, а два подповаренка поотрубали головы по крайней мере десятку цыплят. В конюшне кучер чистит лошадей, а шофер заводит все время одну машину за другой, осматривая каждый винтик и в сотый раз протирая тряпкой каждое лакированное место блестящего Мерседеса.

Проснулся давно уже швейцар и в ожидании звонка барина по складам прочитывает свежие газеты, чтобы узнать, что делается на белом свете. Вот прочел о смерти испанского министра, объявление о каплях датского короля и водит пальцами по газете, ища, нет ли где-нибудь что-нибудь про родную саратовскую деревню. Далеко Саратов, далеко Муздыряловка и господам, видимо, до ее нет дела.

В столовой накрыт стол, шумит самовар и слуга уже несколько раз прислушивался к спальне господина, но там было тихо.

Барин был вдов. Пришла его старая сестра, жившая у него за экономку и очень беспокоилась, почему так долго нет барина. Прождав полчаса, она решилась войти к брату, открыла дверь и в ужасе отскочила, повалилась замертво и чуть было удержал ее подбежавший слуга.

В комнате было все в ужасном беспорядке. Денежный шкаф был открыт и все его содержимое валялось на полу. Около оттоманки лежал труп барина с перерезанным горлом. На трупе была приколота булавкой бумажка с таинственными буквами, написанными от руки красным карандашом:

«Б. Б.»

Успокоив барыню, слуга бросился к швейцару и через минуту уже вся челядь дома знала о совершившемся в доме ужасном преступлении.

Швейцар, наскоро одев бекешу, бросился бежать за властями и, выходя из крыльца, столкнулся с нашим героем, едва не сбив его с ног.

— Что вы, очумели, что ли? — спросил тот, поднимая с земли слетевшую с головы кепку.

— Да очумеешь тут, — сказал швейцар, — когда барина у нас зарезали! — и бросился бежать.

Эх, читатель, что иногда значит в руках умного человека хотя и случайно брошенная отрывочная фраза. В голове нашего героя созрел мгновенно гениальнейший план.

— Такого богача... зарезали!.. — смекнул он что-то, улыбнулся и полетел быстро в обратную сторону.

Он через минуту был у заветной цели. Вот «бюро похоронных процессий».

Он попытался войти туда, но ему еще, когда он только что открыл дверь, махнул рукой приказчик:

— Уходите, — дескать, — здесь ничего не подают.

Однако он настойчиво прошел вперед и сказал:

— Я не нищий, просящий милостыню...

— Что вам угодно? — грубо спросил приказчик.

— Мне угодно заработать полтинник.

— Убирайтесь отсюда!

— В таком случае, я пойду к вашему конкуренту!..

Слово «конкурент» возымело свое действие.

— В чем же дело, черт вас возьми? — закричал бюропохоронщик.

— У меня есть секрет. Сейчас умер в городе очень богатый человек

и я случайно узнал эту новость.

Лицо приказчика сразу приняло более миловидное выражение и он, покинув прилавок, на котором вколачивал гвозди в какой-то маленький гроб, вышел к нашему герою и, хотя в магазине никого посторонних не было, вел с ним совершенно конфиденциальный разговор.

При имени богача, отдавшего душу Господу, приказчик пришел в такое радостное настроение, что, вынув немедленно серебряный полтинник, с дружеским рукопожатием вручил его нашему герою, пожелав ему дальнейших успехов и галантно предупредив, чтобы в случае другого подобного же случая не миновать этого же похоронного бюро и не заходить ни в каком случае к конкуренту.

Итак, полтинник в кармане!

Свернув с Китайской, наш герой прошел по Светланке и уже не так внимательно и досадливо посматривал на витрины магазинов и в окна кафе.

В кармане приятно перекатывался полтинник.

Свернув на Семеновский, наш герой прошел в китайскую лавчонку, где и стравил весь полтинник, получив за него папиросы, водку, колбасу и булку.

Вышел он в приятном настроении, какое бывает у каждого человека, когда он сделает удачное дело.

«А где же я расположусь со своим завтраком?» — подумал он и, не тратя зря времени, направился в сторону Безымянной батареи.

Он сел так, чтобы видеть море, разложил свою закуску и прилег.

Выпив и закусив, он закурил папиросу и предался мечтам.

«А ведь на смерти этого богатого человека, — подумал он, — я мог бы и еще заработать?»

Он стал обдумывать план дальнейших действий.

Проекты и планы родились в его голове один за другим. Он уже мечтал о том, что заработает так много, что в состоянии будет снять себе комнату и раз навсегда покинуть стены ночлежки. Неожиданно судьба положила предел его мечтаниям.

Внезапно выскочили из-за орудия два вооруженных типа и закричали:

— Ни с места! Руки верх!

Они взяли его и повели на Полтавскую № 3.

Газеты города зашумели про убийство. Оно было полно самых загадочных обстоятельств. Тайнственнее же всего были эти буквы, на-

писанные красным карандашом:

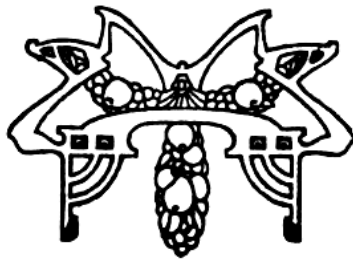
«Б. Б.»

Что они означали? Были ли это инициалы лица, совершившего преступление?

Весь город только и говорил об убийстве. У некоторых возникло предположение, что таинственные буквы означают название «Безымянной батареи», уже известной по многим уголовным историям в городе.

Было ли правильно это предположение? Этим вопросом были заняты умы многих в городе.

А тут еще найденный труп неизвестной молодой женщины на этой же батарее, событие, взволновавшее город не менее, чем убийство богача. Внимание всего города сосредоточилось на тайнах, окружающих Безымянную батарею. Имя Безымянной батареи было у всех на устах.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I-ая

Некоторые занимательные подробности об окрестных видах

Нечего и говорить, что таинственная смерть особы в богатом доме незамедлительно загремела зычными голосами газетных столбцов. Плакаты на заборе возле москательного отделения т. д. Кунст и Альберс прямо-таки вопили:

«Убийство миллионера и две буквы!»

«Кто убил его?»

«Почему убитый не побрился и каковы его отношения к воинской повинности?»

«Следы на тротуаре...»

Всеволод Иванов прогудел передовую, опять похожую на *causerie* читающего «Русскую быль», а также на сонет без рифмы и длиною в 84 строки «черненького».

Известный всему городу профессор, еще раз прикрываясь именем Виктора Эремита, напечатал статью, где говорилось категорически, что евразийство в данном случае столь же несостоятельно, как и Алексей Ремизов со своим обезьяньим орденом, и по существу приходится констатировать еще один пример злоупотребления приемом «оксюморон».

Но достаточно о газетах. Пора обратиться непосредственно к жизни — к первоисточнику всех наших радостей и тревог, как говорил еще в недавнее время один туземный поклонник Бергсона, ныне поступивший тапером в чайный домик четвертой руки — на Иеносу в Нагасаки.

Итак, голоса газетные были до чрезвычайности зычные; но коль скоро глухота проходила, читатель убеждался, что о таинственном убийстве он ни черта, — простите, читательница, — не знает.

Таким образом, два молодых бездельника, после двух порций китайского «самовара», отменно сваренного, запивши это кушанье настоящим императорским чаем, поднялись и вышли на Семеновский виадук.

— Что же делать? — начал тот, который был пониже ростом и в американских остроносых ботинках. — Время — первый час... Знаете, дорогой, не заняться ли нам дедукцией?

— Что? — отозвался тот, который был повыше и тоже в американских башмаках, но только коричневого цвета и, щурясь, отвернулся от пыльной завесы, которую опять нес ветренный вздох с залива.

— Я говорю, не заняться ли нам изысканиями вокруг этих убийств?

— продолжал первый. — Именно: едем смотреть убитую. Она, кажется, в покойницкой Морского госпиталя...

Мимо, пофыркивая глушителем, проезжала мотоциклетка с колясочкой, — друзья сделали знак и, разместившись экстравагантно, с воем и рокотом мотора помчались вверх по Алеутской.

Им довелось порядочно похлопотать в госпитале, — охаживать дежурного ординатора, ждать у старшего врача, пока, наконец, им разрешено было осмотреть покойницу. Их провели в мертвецкую...

— Слушайте, да я ее знаю! — сказал с живостью меньшей.

И он подошел ближе к столу. Особенности в обстановке: пронзительный морозец от неживого, острый дух, пасмурное освещение, труп девушки, которая, разметаив отчаянно волосы, но еще нарядная шелковой серой кофточкой и шотландковой юбкой, шелковыми чулками (туфли, по-видимому, потерялись), лежит, окостеневшая, выделяется шрам на ее бледной щеке, — все это совсем не взволновало новоявленного сыщика.

Он пытливо наклонился над мертвой. Он взял ее правую руку и, отогнув, засучив ей рукав выше локтя, громко свистнул:

— Вот!.. Ну, дорогой мой, я — Арсен Люпен. Взгляните: я знал, что найду это!

На мертвой коже тонко, а теперь синевато, были выцарапаны две буквы: Б. Б.

Из разговоров со сторожем выяснилось, что убитая действительно служила кельнершей в одном из ресторанчиков близ Мальцевского. Зовут ее Ниной Андреевной Локутовой. Барышня была интеллигентная, но шальная, понюхать любила и всякое такое; от родных отбилась. А находится она здесь по просьбе родственников, есть у нее родственники во флоте.

Друзья молча ехали в трамвае от 2-ой Матросской до «Золотого Рога». На углу Алеутской они покинули вагон и скорым дружным шагом бросились вверх по Светланской. Лишь около Корейской они переглянулись:

— На Безымянную? — спросил высокий.

— Ну да, — отозвался низенький.

Но Безымянной батареей нашим героям пришлось полюбоваться лишь издали: японские солдаты, расставленные цепью, не подпускали любопытных ни к орудиям, ни ко входам в казематы.

Приятелям довелось принять рассеянный вид «космополитов, эстетов и поклонников искусства», — созерцать залив поодаль. А простертая внизу водная нива была темна окраской в этот пасмурный час. Пена валов всплывала здесь и там, темный парус шаланды качался, отдаляясь медленно, но неуклонно — шаланда шла, по-видимому, к Янковскому.

В силу вышеупомянутых сторожевых цепей из японских солдат на одной из батарей бывшей Владивостокской крепости, — всем лицам, заинтригованным двумя убийствами, доводилось вновь обратиться к печати; на удивление дружно все, даже самые малограмотные и нигде не дипломированные обыватели Владивостока, сгрудились перед плакатами, что возле москательного отделения т. д. Кунста и Альберса, а также начали свирепую облаву на газетчиков, т. е. на подростков и на взрослых китайцев, торгующих в розницу произведениями периодической печати.

В редакциях гудело небывалое одушевление. Демоны репортажа (имена их незачем перечислять, ибо в каждой редакции имелся свой демон или демоненок), демоны репортажа строили сообща или в одиночку соображения о том, кто, что, как, почему...

В одном месте решили, что загадочные буквы Б. Б. обозначают инициалы имени и фамилии пишущего эти строки.

В другой редакции определенно решено было, что Б. Б. — это Б. Лобановский.

Циркулировала версия почитать Б. Б. за Б. Т. — псевдоним Б. И. Тугаринова, который в это время с мистическим видом скупал фабрикаты вр. хабаровского купца Ласькова в районе Мальцевского и цитировал на ходу Сольвея.

Однако все редакции пришли к единодушному решению, что на Безымянную батарею следует послать коллегия из специалистов не только по репортажу, но грамотных и в артиллерии.

Такая коллегия в составе М. Юинга и г. г. Клярена, Ноэля, Л. А. Сильницкого и младшего из Маркиных, — кажется, устроила пеший рейд на Безымянную батарею и выяснила...

И выяснила, что японское командование почему-то вдруг стало к Безымянной батарее равнодушно очень. И даже весьма очень.

В газетах появилась нота, которую называли вербальной, а покойников тем временем похоронили.

Борис Бета.

(Во вторник будет II-ая глава, написанная А. Несмеловым).

В восемь часов вечера того дня, когда два бездельника в остроносых американских ботинках занимались дедукцией, к дому Коврова, на 5-ой Матросской, подошел молодой человек в сером летнем пальто и черной широкополой шляпе, надвинутой на самые брови.

Опасливо осмотревшись и убедившись, видимо, что он один, а за-вечеревшая улица ничем ему не угрожает, — молодой человек стукнул три раза в дверь.

Через минуту дверь осторожно приотворилась. В щель выглянуло старушечье лицо. Затем звякнула снятая предохранительная цепочка и старуха прошептала:

— Входи скорей.

Молодой человек очутился в темной маленькой прихожей. В страшном изнеможении он сел, покачнувшись, на сундук.

Из соседней комнаты в узкую дверную щель пробирался косой и желтый луч зажженной уже лампы.

— Вот, — сказала старуха, — убили Ниночку...

И всхлипнула.

— Как же быть, Глеб?

Молодой человек встал.

— Они еще не были в ее комнате? — сдавленным шепотом спросил он.

— Нет.

— Пойдем.

Через маленькую, нищенски обставленную столовую они прошли в дальнюю каморку. Несмотря на убожество квартиры, в этой комнате чувствовалось, что здесь жила женщина, любившая некоторый комфорт и шик. Пахло хорошими духами. На столе, перед прекрасным зеркалом в массивном серебре — стояли изящные дорогие безделушки.

— Как же быть-то, Глебушка? — заплакала старуха, садясь на постель, покрытую лиловым шелковым одеялом. — Ведь если они Локутову убили — и до нас завтра доберутся?

Глеб брезгливо поморщился. Видимо, его оскорбляло то, что старуха обращается к нему как равному и соучастнику.

— Оставьте меня здесь одного, — сказал он.

Старуха вздохнула и замялась.

— Что? — спросил молодой человек и в его голосе послышалась сталь.

Хищное и желтое лицо женщины вздрогнуло. Она поспешно вышла.

Заперев за нею дверь на задвижку, молодой человек почти в полном отчаянии сел в камышовое плетеное кресло. Медленным движением достал из кармана пальто черный «Веблей».

Казалось, он хочет убить себя. Потом он закрыл глаза. Глубоким дыханием втянул в себя душистый, пахнувший женщиной воздух.

И — точно очнулся.

— Надо! — хрипло сказал он.

И встал.

Отбросил, почти оторвал от пола японскую циновку. Нажал на половицу. Один конец ее поднялся.

Глеб вынул доску.

Он шарил руками в дыре.

— Вот!

Он достал кожаный саквояж. Поставил его рядом. Привел в порядок пол.

Потом опять сел в плетеное кресло и, держа на коленях саквояж, раскрыл его.

В нем лежала **препарированная формалином, коричневая уже, как кожа саквояжа, человеческая голова**. Она, судя по седеющим и коротким волосам, принадлежала мужчине лет 50-ти.

— Вот ты опять у меня! — сказал с тоской Глеб. — Ты, кому подчинялось...

Он не договорил.

Его охватывал суеверный ужас. Ему казалось, что голова поднимает коричневые веки.

Глеб бросил ее в саквояж. И встал. На пороге его встретила дрожащая старуха.

— Там? — спросила она, показывая на саквояж. Глеб кивнул головой.

.

Но вернемся к бездельникам в остроносых американских ботинках. Один из них, конечно, Борис Бета.

Другой... С другим я не знаком. А с незнакомыми разговаривать неприлично.

К вечеру они угостились уже шестью порциями китайского «самовара» и поэтому им было не до дедукции — дай бог до дому по индукции добраться.

Все-таки оба влеклись.

Вдруг на углу Алексеевской и Светланской к ним подскочили трое. Все в черном. Все в масках. В руке у каждого по нагану.

— Стой!

— Трудно, но стоим, — пошатываясь, ответили бездельники.

— Вы Борис? — спросил глухой голос из-под маски.

— Борис, — ответил Бета.

— Вы Бета? — еще глуше спросила маска.

— Бета, — признался Борис.

— Так, значит, — закричала маска, — вы и есть **Б. Б.!**

Чувствуя, что приближается смерть, Б. Бета схватился за сердце.

Оно, решив, что все равно помирать, почти не билось.

Писатель задохнулся.

«А дух возьмут служить в библиотеках», — процитировал он сам себя.

Вдруг рядом раздался крик:

— Стойте, стойте! Это роковое совпадение!..

Между бездельниками в американских ботинках и масками выросла стройная фигура Глеба. В руке у него был коричневый саквояж.

— Скорей следуйте на Безымянную батарею, — строго сказал он маскам. — Магистр уже там. Бойтесь автомобиля № 357. А вам, — обратился Глеб к Борису Бете, — я советую переменить псевдоним.

Видя, что на глаза писателя навертываются слезы, Глеб сжалился:

— Ну, имя можете переменить — это все равно, — сказал он и вдруг отпрянул к стене: мимо них, светя ацетиленовыми глазами, промчался автомобиль № 357.

Арсений Несмелов.

ГЛАВА III

О том, что еще неизвестно читателю

Досадный сумбур событий, образовавшийся в головах граждан города Владивостока в связи с несколькими печальными историями на Безымянной батарее, усиливался. Существовавшая власть двух прохвостов, захвативших бразды правления при помощи японцев, не только не содействовала раскрытию преступлений, а всячески через своих агентов способствовала тому, чтобы запутать таинственный клубок, образовавшийся вокруг имени заброшенной и запущенной батареи на берегу Амурского залива.

Одновременно в городе увеличился и оригинальный род преступлений, о которых говорилось всеми почему-то втихомолку. Характер этих преступлений был поразительно однообразен.

Вдруг какое-нибудь лицо, притом обязательно состоятельное, исчезало. Иногда в особенно удачные дни исчезало сразу по несколько состоятельных лиц.

Вместо исчезнувших неизменно оставался ворох писем, в которых авторы умоляли своих жен, родственников и сослуживцев внести известную мзду по адресу, который можно узнать «там-то», и тогда, дескать, исчезнувшее лицо вновь появится на владивостокском горизонте.

Жены лазили по всем кубышкам, фирмы рвали волосы на себе, но деньги все же уплачивались в неизвестное казначейство, а через некоторый промежуток времени исчезавшее лицо, как после сыпного тифа, бродило тенью по улице и на вопросы знакомых отвечало:

— Тише, тише. — Был в сопках... едва вырвался оттуда! 50 тысяч заплатил, последние.

На самый же интересный вопрос о том, где эти «сопки», еще более конфиденциально отвечал:

— Мимо ходим... и вы, и я...

Обыватель оглядывался и в зависимости от того, где происходил разговор, по инерции думал, что сопки — это «Версаль», «Русь», а некоторые даже подозревали дом присяжного поверенного, у которого проживало иностранное консульство.

Стоило, однако, обществу вздрогнуть от кошмарных убийств, прогремевших в печати, как в неумной голове обывателя родилось предположение:

— Сопки, куда уводят купцов и домовладельцев, это и есть Безымянная батарея.

Заседание городской думы сегодня было особенно бурным. Гласные-окраинцы и гласные центра никак не могли поладить между собою и достигнуть единения по весьма-таки смачному вопросу:

«О постановке памятника почетному гражданину города Спиридону Дионисьевичу Меркулову».

Окраинцы настаивали, чтобы памятник был обязательно в Гнилом углу, настолько исключительной достопримечательности Владивостока, что у противников не находилось возражений.

В самом деле, где есть еще на земном шаре другой такой город, у которого был бы Гнилой угол?

Гласные центра не соглашались с такой точкой зрения. Они отстаивали необходимость постановки памятника на сопке против Золотого Рога, для того, чтобы фигура столь знаменитого гражданина города была видна всем прибывающим в порт иностранцам.

Эта именно точка зрения и возымела верх. Возник лишь жаркий спор о том, как поставить фигуру высокоблагородного Спиридона — обращенной к заливу или обращенной к городу.

По сему поводу гласный, доктор Кестлер, произнес высоко прочувствованную речь.

Он сказал:

— Фигура достоуважаемого согражданина должна быть обращена лицом к заливу, чтобы оказать уважение приезжающим во множестве иностранцам.

По сему поводу последовало справедливое возражение:

— Если поставить фигуру лицом к заливу и тем оказать уважение иностранцам, то фигура окажет полнейшее непочтение гражданам города, будучи обращенной к ним спиной и прочими неприемлемыми частями тела.

В результате жарких прений и целого ряда предложений голосовалось закрытой баллотировкой предложение инженера, заведующего городскими электрическими сооружениями:

— Поставить вертящийся памятник, с тем, чтобы во время прихода судов он был обращен к заливу и тем выказывал уважение прибывающим иностранцам, а в остальное время был бы обращен к городу, оказывая уважение его согражданам.

Сие постановление большинством шаров было принято.

Когда Лев Толстой писал свою «Войну и мир», он на это дело употребил несколько лет, поэтому весьма возможны технические несовершенства нашего коллективного произведения, которое не насчи-

тывает еще и года своего существования и не намеревается продолжаться более года.

По прошествии года авторы предполагают начать новый роман, который затмит предыдущий.

Мы считаем необходимым сделать эту оговорку прежде, чем придем к необходимости развить фабулу нашего романа, каковой момент уже наступил.

Теперь уже совершенно ясно, что ни один из авторов этого романа не был причастен к тому, что произошло.

Таинственные буквы «Б. Б.» не принадлежали ни одному из журналистов или поэтов. Это были инициалы анархической организации, работавшей под псевдонимом «Безымянная батарея». В какой степени знакомая всем владивостокцам, а аборигенам Семеновского базара и Корейской и Базарной улиц в особенности, Безымянная батарея была прикосновенна к выше описанным событиям, будет видно из дальнейшего, но главное все-таки было не в этом.

На крайней оконечности мыса Чуркина стояла сторожевая башенка. Уже давно она была заброшена людьми. Внизу бились волны, но бились слабо, едва-едва отражая кипучую жизнь моря.

За последнее время эта башенка сделалась центром внимания группы лиц. Сюда приходили они поодиночке и подолгу не задерживались.

Что их тянуло сюда, к этому неуютному месту?

А вчера, будто бы вследствие порчи винта, задержался здесь во время очередного рейса в Цуругу «Хозан Мару» и принял с джонки двух пассажиров. Нам не удалось заметить их лиц, но у каждого из них было по объемистому мешку.

А одновременно с маньчжурским уехали три подозрительных субъекта, осторожно пробравшиеся в вагон III класса и строго следившие за провозимым ими багажом, который они положили в вагоне на верхнюю полку.

С. Наумов.

Содержание предыдущих глав

В городе произошло кошмарное убийство богача. Преступники оставили записку с двумя загадочными буквами «Б. Б.». Возникло предположение, что буквы эти означают название «Безымянной батареи». На батарее был найден труп убитой молодой женщины. Герой романа был захвачен на Безымянной батарее и уведен на Полтавскую № 3. Во время поднявшегося интереса к событиям была обнаружена другая находка — человеческая голова.

Глава IV

Как интервьюировали репортера. Первое чудо

В дом № 3 на Полтавской улице с самым решительным видом влетел щуплый юноша в блинообразной кепке, пальто неопределенного цвета «с искрой» и в пенсне на длинном носу. Это был сотрудник одной из вечерних газет, известный под шутливым наименованием «Демон репортажа». Энергичный репортер сделал попытку, не говоря ни слова, пройти вглубь здания, по коридору налево.

Но не тут-то было.

Какой-то цербер полуштатского, полувоенного вида немедленно схватил его за пуговицу:

— Э-э, постойте, молодой человек. Куда это вы разлетелись?

— Туда, куда нужно. Предоставьте знать мне это самому.

— Ну, нет, начальству виднее.

— Мне надо начальника информационного отделения.

— Но это не значит, что господину начальнику надо вас...

— Я репортер...

— Тем более.

Разговор сделался казенно лаконичен.

Если юноша был «демон репортажа», то говорящий с ним был не менее, как черт, и самого придиричивого характера.

Из щелей повыползло еще пять личностей, которые тишком внимательно и бесцеремонно рассматривали со всех сторон репортера.

Видя, что толку здесь не будет, репортер круто повернулся и выскочил на улицу, решивши около дома дождаться начальника этого «славного» учреждения — на предмет интервью.

Приняв рассеянный фланирующий вид, он сначала несколько поднялся вверх по Полтавской, а потом пошел снова вниз.

Он уже почти миновал дом № 3, как вдруг прямо в щеку ему ударился какой-то нетяжелый маленький предмет. Репортер быстро нагнулся и поднял маленький комочек бумаги.

— Разрешите прикурить! — как из-под земли (или, по крайней мере, из подворотни) выросло перед ним гороховое пальто с черными усиками, бойко закрученными вверх.

«Видел или нет?» — репортер сжал бумажку в руке:

— Извините-с, не курю!

«Пальто» подозрительно прикинуло его на глаз и куда-то исчезло, провалилось, совсем как черт на провинциальной сцене.

— Слава Богу, не видел! — вздохнул легко «демон репортажа» и быстрой «хронической» походкой свернул на Светланку.

Усевшись за столик в уголке шумного клуба инвалидов, он развернул эту свалившуюся с неба бумажку.

На ней какими-то странными рыжими чернилами было нацарапано:

«Ради Бога, передайте записку Нине Георгиевне Локутовой».

И дальше:

«Сибирская жизнь. Жутко очень. Крайбург у ней. Целую кошечку мою морскую. Горячо Кеша. Вчера второпях забыл огородить свою этажерку. Знаешь Жака? Пока помолитесь за Гителя. Он белый, как жатва».

В самом низу был указан адрес: Светланская, самый центр, номер дома и квартиры.

— Рехнулся, бедный! — присвистнул репортер. — Пишет убитой, да еще такую чушь.

И из сочувствия несчастному узнику — ибо, вне всякого сомнения, записка была брошена из окна «узилища», — демон репортажа потребовал водки...

После второго пузатенького графинчика кельнерши показались ему прекрасными, жизнь интересной, а странное письмо — имеющим некоторый смысл.

И, не откладывая в долгий ящик, он, расплатившись в ресторане, пошел по указанному адресу, — благо это было очень недалеко.

Войдя во двор дома, помеченного в записке, он увидел прямо перед собой и дощечку с нужным номером квартиры.

Поднялся на 3 этаж. Позвонил у двери, не имеющей никакой карточки.

Через минуту дверь открылась. Перед «демоном» стоял «ангел»...

Впрочем, вероятно, эта девушка была красивее ангела, там как все ее природные прелести были еще усовершенствованы искусной портнихой. Темное платье сидело на ней великолепно, подчеркивая белоснежность кожи рыжеватой блондинки и не закрывая шелковых чулков со стрелками над модными остроносими полуботинками коричневого шевро. Лицо ее выражало растерянность.

— Вам кого? — чуть слышно прошептала она, невольно отступив на шаг перед галантно расшаркивающимся «демоном».

— Могу я видеть Нину Георгиевну?

Лицо девушки порозовело:

— Здесь нет никакой Нины Георгиевны, — еще тише проговорила она.

— Может быть, вы все-таки прочтете эту записочку? — не отставал энергично «демон» и протянул записку.

Едва девушка бросила взгляд на записку, она побледнела и воскликнула:

— Вы от него? Значит, вам можно доверять?

— О, еще бы! — в восторге пропел журналист.

— В таком случае... Я... Нина Локутова!

Бедняга даже попятился:

— Ну вот, ну вот! Не надо было пить второго графинчика.

— Виноват-с.... Но как же, сударыня, вы, так сказать, вас, так сказать... Извините за выражение, но ведь вы убиты-с?

— Они не нашли меня...

— Мадама! купи аперсина. Шибко дешево! — в комнату нахально влез китаец с лотком. Лицо его показалось странно знакомым репортеру. Впрочем, все китайцы на одно лицо.

— Цубо! — и нахальный ходя вытолкнут за дверь разъяренным «демоном».

Девушка сидела в кресте, слегка испуганная.

Она была так прекрасна в этом полумраке мало мебелированной комнаты. В сердце журналиста что-то затеплилось.

Остро вспомнились мужские имена, которыми так изобиловала записка.

— А кто такие Крайбург и Жак? — не вытерпел он.

Девушка весело засмеялась:

— Смотрите! — она быстро схватила карандаш, зачеркнула все четные слова, и в каждом оставшемся слове вторую половину.

Протянула бумажку собеседнику. Теперь ясно было можно прочесть: «Сижу крайней каморке второго этажа. Помогите бежать».

Г. Травин

Содержание предыдущих глав

В городе произошло кошмарное убийство богача. Преступники оставили записку с двумя загадочными буквами «Б. Б.». Возникло предположение, что буквы эти означают название «Безымянной батареи». На батарее был найден труп убитой молодой женщины. Герой романа был захвачен на Безымянной батарее и уведен на Полтавскую № 3. Во время поднявшегося интереса к событиям была обнаружена другая находка — человеческая голова. В дальнейшем оказывается, что вместо Нины Локутовой убита какая-то другая женщина, а Локутова скрывается в одном на больших домов на Светланке. Она получает шифрованную записку от заключенного в д. № 3 по Полтавской ул. с просьбой о помощи.

Глава V

Харбин еще раз в роли папы

Как заметил читатель, герои нашего романа весьма предприимчивы в способах передвиженья — еще один Фоккер и одна какая-нибудь субмарина, и все существующие виды передвиженья будут налицо в нашем коллективном труде.

Но пусть на Фоккере летает в позднее время в Улисс Арсений Несмелов, если, однако, выдержит это путешествие его лирическое сердце; а субмарина ждет давно у подножья Безымянной батареи Н. В. Кока.

Мои герои через харбинскую вокзальную площадь пошли пешком, — драндулеты, фаэтоны извозчиков, купе такси и автобусов, все это осталось без внимания.

Их было двое: высокий и низенький, оба в коротких американских пальто и фетровых шляпах. Высокий нес в левой руке трэнк коричневой кожи; внимательный глаз заметил бы серию цветных отельных наклеек, где особенно отчетливо читалась этикетка гостиницы «Ямото» — не однажды; а так как гостиница с этим названием имеется почти при каждой крупной станции корейских железных дорог, — то можно сделать вывод, что лицо, путешествовавшее с трэнком, когда-то медленно продвигалось по Корее...

На Вокзальном проспекте владивостокские путешественники зашли под ворота многоэтажного дома. В тесном дворе они продолжали шагать столь же уверенно, как и на улице: через узкий коридор между каменными флигелями они прошли к дверям японской фотографии и, отпахнув застекленную и занавешенную зеленой тафтой дверь, очутились в приемной фотографии. Там за столом сидел японец в синем керимоне и в роговых американских очках.

— Ибо-сан? — спросил высокий.

— Дозо, дозо, — закланялся японец и, вежливый чрезвычайно, шумно втянул воздух.

Приехавшие прошли четырехаршинную приемную и одинаковую площадью лабораторию, где у стены были устроены низенькие нары для сна. За лабораторией была комната без окон, в ней горело электричество, на письменном столе лампа в низком зеленом абажуре. А от стола обернулся человек, блеснули стекла его очков.

— Добрый день! — заговорил по-французски высокий и поставил трэнк к стене. — Вот и мы. Как ваши дела?

Сидевший помолчал, наблюдая, как разоблачаются от своих пальто приехавшие.

— Да, с вами всегда будут отличные дела, — заговорил он низким голосом, но быстро и шепеляво, как истый парижанин.

— В чем дело? — воскликнул высокий.

— А в том, что вы стоите за последнюю неделю две тысячи четыреста франков, дорогие друзья. И что сделано вами?.. И вы, конечно, привезли голову?

— Да, привезли, — ответил высокий, вынимая трубку и резиновый кисет.

— А почему, спрашивается? — встал француз из-за стола, седоватые его волосы вздрагивали от волнения. — Вы не желаете исполнить директив? Может, вы не желаете служить у нас?

— Позвольте... — поднял руку высокий.

— Позвольте мне, — вскрикнул стариковски жидко француз. — Извольте дать мне исчерпывающий рапорт... Вот: что за девушку убили вы?

— Пустяки. Кельнерша из маленького ресторанчика...

— И зачем?

— Она знала про голову...

Продолжилось томительное молчание.

— Господин Глеб! — заговорил француз. — До сих пор мы были хорошего мнения о ваших способностях. Вы молодой офицер генерального штаба или жандарм, что ли... Но теперь я убеждаюсь, теперь я решительно вижу, что вы просто — несостоятельный человек.

— Минуточку, — поднял руку названный Глебом. — Благодарю вас за комплименты. Разумеется, вашему штабу виднее. Разумеется, ваш план с этой головой, эта голова Ми...

— Нет! помимо глупости, вы еще и трус! Вы русский заяц, которому только деньги.

— Стоп!.. Я уверен, что вы ошиблись, употребляя последние слова? — спросил высокий дрожащим голосом.

Собеседники смотрели внимательно друг на друга. Очевидно, они поняли прочтенные мысли, — электричество разом потухло, грохотная вспышка выстрела уронила в темноте где-то тело, а когда опять

засветилось под зеленым абажуром, стало видно, что упал высокий Глеб, а у спутника его лицо бледно и взгляд тосклив.

— Вот, — сказал француз, преодолевая одышку астмы. — Вот как расправляются с нигилистами... Ну, а вы что скажете?

— Я в вашем распоряжении, полковник, — ответил уцелевший негромко.

— Ну, посмотрим. Поезжайте сейчас к Зеленому. Голову оставьте здесь. У вас есть на расходы?

— Да.

— Возьмите и у него, господин Андрей...

И, взяв бумажник у мертвого из пиджака, господин Андрей откланялся и, как побитый, выбрался из ночной комнаты. Он отказался от японского чая и вышел под открытое небо. Лицо его было в испарине.

На этом я окончу пока.

И припишу пару строк *pro domo sua*: в одной из глав нашего романа я был выведен как *persona dramatis*. Эта дружеская популяризация имени Бориса Беты, возможно, что повлияла невыгодно на читательский интерес. Поэтому заверяю читателя:

1) Что я в романе не участвовал, а участвовал, так на паритетных условиях с Арсением Несмеловым. И еще:

2) Что хотя наш редактор С. П. Наумов назвал меня вчерашний день гением (сравнительно с поэтом Трофимом Тимшиным-Шоринским), я, памятуя слова одного чеховского дьякона, что «на свете все приблизительно, относительно и сравнительно», — все же должен заявить, что я не гений и живу я на Седанке.

Борис Бета.

Глава VI

Пора пролить некоторый свет на происходившие во Владивостоке события. Как ни запутывались факты, как ни нагромождались убийства, однако люди, вдумывавшиеся в происходившее, уже тогда поняли, что город стал ареной борьбы двух групп или двух шаяк.

Так в чем же дело?

Во-первых, что это за мертвая голова? Зачем ее прячут в подполье, зачем убивают из-за нее кельнершу, зачем, наконец, голова «эвакуируется» в Харбин и там становится причиной нового убийства?

Самое главное:

— Чья, наконец, эта голова? Кому она принадлежала?

Ответим прямо. Около двух лет тому назад во Владивостоке упорно говорили о том, что чехи привезли в город препарированную формалином голову умершего от сыпного тифа великого князя. Князь жил инкогнито в Уфе. Говорили, что это — Михаил Александрович.

Чехи эвакуировались. О голове великого князя поговорили, поговорили и забыли. Но некая группа людей, имеющая связь с одной из иностранных миссий, секретно пребывающей на Дальнем Востоке, купила, будто бы, голову у ее обладателя, чешского унтер-офицера Яна Чжечки, за сравнительно небольшую сумму — 830 иен. Участником сделки был Глеб, яростно торговавшийся (он на этом хорошо заработал).

Далее предполагалось великокняжескую голову отправить в Европу и там продать... Кому?... Покупатели уже находились, вдовствующая императрица, которой было написано о голове, — за последние останки своего сына готова была дать огромную сумму.

Но кому доверить голову? Шайка, обладавшая ею, боялась отправить в Европу одного посланца. Он получил бы деньги и... скрылся бы с ними. Во всяком случае, он мог бы сделать это.

И вот вся шайка, состоявшая из шести человек, решила отправиться *in cogrope* в Данию, где пребывала Мария Федоровна.

Но для этого нужны были деньги. Это-то и послужило причиной того, что Глеб со своими подчиненными оказался во власти неких иностранцев. Те обещали дать денег в количестве, достаточном для путешествия всех шестерых, но потребовали от Глеба «работы».

И вот вся шайка, фактически, оказалась во власти иностранцев, избравших Харбин и Владивосток местом своих кровавых авантюр.

Конечно, остается еще много неясного. Во-первых, непонятна роль Локутовой. Как будто бы она была членом глебовской шайки и в то же время члены же шайки пытались ее убить.

В чем дело?

Это сейчас несколько объяснится.

Прежде всего, кто этот голодающий молодой человек, так неожиданно попавший в меркуловский застенок? Одна из глав романа указала на его связь со спасшейся чудом от смерти Локутовой.

Здесь позвольте мне вернуться опять несколько назад. Молодого человека, попавшего в лапы меркуловских контр-разведчиков, звали Василием Ивановичем Зыбовым.

Он приехал во Владивосток в 19-ом году, во время «царствования» Колчака, делегированный сюда красноярской группой анархистов с поручением принять от владивостокских товарищей оружие, динамит и значительную сумму денег. Все это нужно было в Красноярске для борьбы с «колчаками». Но, явившись во Владивосток, Зыбов нашел местную организацию анархистов разгромленной.

Он хотел вернуться уже обратно, но тиф бросил его в больницу. Там он едва не умер. Но выздоровел, хотя не совсем. На почве тифа у него оказались парализованными ноги. Два года пролежал он в нервном отделении городской больницы и только в конце 21 года искусство доктора Гринберга вернуло ему способность пользоваться ногами.

Он вышел из больницы за месяц до событий. И на второй же день, случайно, встретил человека, к кому его делегировали красноярские друзья: это была Нина Георгиевна Локутова.

Локутова сказала товарищу, что он появился очень кстати. Она сейчас занята очень серьезным делом по ликвидации шайки авантюристов, которую содержит одна из иностранных миссий с целью вызвать в Харбине и Владивостоке невыгодные для России белые беспорядки.

Локутова действовала на свой риск и страх. Зыбов принял ее предложение помочь ей.



Глава VII-ая

Глеб выпрямляется

В боковуше при японской фотографии после выхода «господина Андрея» настала тишина. Старик-француз свернул толстую папиросу, докурил ее, — причем в комнате явственно обозначился запах солдатского копораля, — и, весь в дыму, склонился к бумагам...

— Опять каска! — выкликнула с порога женщина в каракулевом манти, порывисто вступая, — понимаете, опять он...

— Тут? — поднял голову француз.

— На пристани! С ним Ольга, — женщина опустилась на стул, подняла вуаль с бледного лица; лицо было привлекательно, оно выражало изнеможение. Женщина закрыла глаза, переводя дыхание.

Француз с шумом отодвинул стул.

— Дьявол, — пробормотал он, облачаясь в пальто с обезьяньим воротником, — ну, шуточки должны кончиться!.. — Он открыл ящик стола и вытащил Соваж. — Идем, — кивнул он женщине. Прошуршала юбка — в комнате остался лишь неподвижно лежащий на полу Глеб.

Он быстро сел. Волосы его, его аккуратная лохочная прическа, была взлохмачена. Он прислушался. Определив полное спокойствие, он поднялся на ноги и метнулся к столу. Волосы свисли ему на бледный лоб, руки его дрожали, шаря в жестких вощеных бумагах, — он издал короткое восклицание и вытащил ближе к свету лампы голубоватый лист почтовой бумаги большого формата.

— Так, так, — бормотал он, складывая хрустящую бумагу и засовывая ее в боковой карман, — бумажник пустяк, в бумажнике лишь идиоты носят деньги и документы, но посмотрим, мосье Лезгилье, что вы будете петь, лишившись этой бумажки — посмотрим, черт побери!

Он быстро одел пальто, нахлобучил шляпу. Но остановился в раздумии...

...Седобородый старик в бекеше из верблюжьего сукна, в бобровой шапке и со свертком в обычной коричневой бумаге прошел через лабораторию, через фотографию, не вызвав решительно никакого удивления со стороны японцев. На улице старик нанял извозчика — на Старо-Харбинское шоссе...

Глава VIII-ая

Господин Андрей, вас предупреждают

Молодой человек невысокого роста, названный в комнате при японской фотографии господином Андреем, подъехал на хорошем извозчике к кафе «Модерн» на Китайской улице. Расплатившись, он рысцой перебежал тротуар в дверь и — вступил в зал кофейни. Оглянувшись, он направился налево: там одиноко сидел угрюмый, похожий на борца, господин в зеленом пальто с котиком. Одутловатое лицо было украшено висячими рыжими усами, рачьи глаза смотрели хмельно.

— Ага, — сказал он, пожимая руку господину Андрею. — А Глеб?

— Глеб... ему нездоровится, — ответил с некоторой запинкой господин Андрей и придвинулся поближе к рыжему. — Вам известно — Локутовой нет уже?

— Неправда, — ответил рыжий, глядя на улицу.

— Как неправда? — сдвинул на затылок шляпу господин Андрей.

— А вот как, — и рыжий протянул ему мятую бумагу.

Это был телеграфный бланк. Руки господина Андрея вздрагивали, — он прочитал:

«Высылайте материал в адрес Кроткова. С Василием несчастье. Посоветуйтесь с доктором. Нина».

— Что за ерунда? — отозвался, наконец, господин Андрей. — Я ничего не понимаю!..

— А я так отлично все понимаю, — возразил спокойный рыжий господин.

— В чем дело, послушайте, Зеленый? — сказал господин Андрей почти умоляюще.

— А вот в чем, — ответил Зеленый, откашлявшись; поправившись на заскрипевшем стуле, он сделал значительные глаза, — но ему помешал официант:

— Господин Иванов, вас к телефону, — сообщил официант, почтительно склоняясь.

Некоторое время господин Андрей оставался в одиночестве. Он усиленно думал, а затем слазил за пазуху и достал бумажник, взятый им у Глеба; бумажник <был> явно толст, он возбуждал любопытство. Но тяжелая рука легла на плечо любопытному и низкий голос Зеленого прохрипел на ухо:

— Господин Андрей, вас предупреждают.

Борис Бета.

Содержание предш. глав.

В городе произошло таинственное убийство богача, причем убийцы оставили записку с двумя буквами «Б. Б.». Авантюристы Глеб и Андрей купили у чехов голову вел. князя Михаила и увезли ее в Харбин. С ними борется героиня романа Нина Локутова. Помощником ее является Зыбов, попавший в лапы контрразведки. Ему удастся передать Нине через репортера записку с указанием своего местонахождения — в доме № 3 по Полтавской улице.

Глава IX

Еще два слова о репортере. Два «Б»

Самый запутанный из всех романов — это жизнь, роман, написанный роком, великим фантазером и великим насмешником, путающим все нити, как ему угодно...

В то время, как в Харбине протекала с внутренними осложнениями жизнь темных героев нашего романа, во Владивостоке события шли своим чередом.

Репортер, с которым читатель познакомился в одной из предшествовавших глав, был ошеломлен и очарован своей встречей с прекрасной таинственной девушкой, которую весь город считал убитой.

Надо сказать, что разговор журналиста с Ниной Георгиевной на самом интересном месте был прерван появлением зловещей старухи, уже знакомой читателям по дому на Матросской улице.

Старухе этой, по-видимому, почему-то не понравился репортер. Антипатия, впрочем, была, взаимной, и сухие костяшки пальцев, протянутые журналисту в виде приветствия, были противны, и скрипучий голос:

— Здравствуйте, молодой человек.

— Марковна, это мой знакомый — Петр Иванович, — сказала Локутова деланно спокойно.

Журналист, зовущийся Николаем Николаевичем, понял, что протестовать нельзя: очевидно, девушка хотела скрыть от старухи все происшедшее.

Поэтому он только сухо поклонился и слушал молча, как Локутова говорила дальше, как будто продолжая начатый разговор:

— Итак, помните ваше обещание, Петр Иванович, завтра жду вас вечером к чаю...

Через две минуты, после нескольких незначительных фраз, журналист откланялся и зашагал по Светланке в свою редакцию, настроенный очень смутно.

Неудивительно, что весь вечер, все утро следующего дня привычные репортерские строчки танцевали в его голове какой-то странный танец: слегка косящие синие глаза Нины взмахивали между строк. Тонковатые, гримаской милой сложенные губки дразнили, как цветок фантастический и пряный. А остальное не помнил: мелочи туалета, прическа, все это ушло как-то в туман мужской ненаблюдательности. Ноготки шлифованные розовые еще помнил и запах духов, незнакомый и очень сильный.

Как же тут писать о сухих указах и распоряжениях?!

В этот день вся хроника в газете поражала бестолковостью.

А вечером он провел около часа перед зеркалом, макая в стакан воды гребенку, разделяя свою непокорную шевелюру на две стороны прямым английским пробором. Галстук выбрал самый пестрый, пиджачок почистил чаем, даже цветочек в петлицу не забыл...

Но все оказалось — напрасно.

На звонок у дверей «ее» долго не было никакого движения. Потом дверь приоткрылась, показалась морщинистая маска старухи.

— Нету, нету дома. Уехавши!

И дверь стукнула громко и сердито.

«Врет старая ведьма!» — было первой мыслью обескураженного гостя.

Для выяснения истины пришлось проинтервьюировать дворника, сидевшего у ворот с величием живого Будды. Первый раз в жизни нашему приятелю случилось не получать за интервью, а платить; дал дворнику целый рубль.

На рубль тот рассказал много. Уехала, верно. Тайком от ведьмы уехала... Я и извозчика подряжал. Чемоданчик небольшой с ними был. А куда, не знаю. Известно, господа садятся без торгов: пошел, да и все тут. Хорошая была барышня! А верталась домой очень поздно, и каждый раз мне — целковый...

И ушел журналист печально. Как сон было это появление в его серой жизни яркой загадочной девушки с синим взором слегка косящих глаз, со ртом, мечтающим о поцелуях нежных.

И заснул он сон этот странный — уехать пришлось в Никольск, к другим людям и делам.

Сошел на нет в романе.

Появится ли еще, Бог весть.

А Нина Локутова недалеко уехала.

У вокзала она отпустила извозчика, небольшой желтый чемоданчик сдала на хранение в камеру, вмещалась в толпу пассажиров, спешащих, толкающихся и болтающих...

Еще через десять минут она вышла снова из здания вокзала в густой вуали — будто от пыли, и быстро свернула на 1-ую Морскую, и далее через пустынную Тигровую гору. По Корейской вышла к гостинице «Версаль».

Здесь она поднялась по лестнице, все с опущенной вуалью, и постучала у дверей номера с карточкой:

«М-лле Зизи».

— Entres!

Навстречу Нине Георгиевне полупривстала на широкой тахте женщина в розовом пеньюаре, красивая полуискусственной красотой.

— Ниночка!!

И m-lle Зизи заключила пришедшую в свои теплые большие объятия.

После первых приветствий и разговоров обо всем, о чем умеют говорить только женщины, Нина сказала:

— Милая Зизи, у меня к тебе большая, большая просьба. Познакомь меня с генералом Б.

— А разве твои дела так плохи? — в подрисованных глазах Зизи сверкнуло липкое любопытство.

Если б в комнате было светлее, она наверно заметила бы, что Нина сильно покраснела.

— Как тебе сказать... Во всяком случае, надеюсь, тебе генерал Б. не нужен?

Зизи весело засмеялась:

— О нет! с меня довольно моего полковника Б. Он помоложе, а денег тоже достаточно. Ха, ха, ха! это будет очень забавно: у меня господин Б. и у тебя будет Б.! Два Б.! Как бы не было... бебе!

Довольная своим каламбуром, Зизи долго смеялась, откинув назад свою стильную голову. Все-таки она заметила на лице Нины какую-то тревожную мысль и поспешила наивно успокоить ее:

— Впрочем, насчет бебе, мы не так глупы! Не правда ли?

Содержание предш. глав.

В городе произошло таинственное убийство богача, причем убийцы оставили записку с двумя буквами «Б. Б.». Авантюристы Глеб и Андрей купили у чехов голову вел. князя Михаила и увезли ее в Харбин. С ними борется героиня романа Нина Локутова. Помощником ее является Зыбов, попавший в лапы контрразведки. Ему удастся передать Нине через репортера записку с указанием своего местонахождения — в доме № 3 по Полтавской улице.

Нина, симулируя для отвода глаз отъезд, идет к своей подруге т-лле Зизи и просит познакомить ее с начальником охраны генералом Б.

Глава X

«Почти любовь» и «почти смерть». Автомобиль в роли субмарины

Вечером этого же дня обе подруги сидели в отдельном кабинете ресторана — с генералом Б. и полковником Б. — столпами охраны. Шампанское пили усердно и коньяк. Генерал тряс белой бородой, смеялся всему жиденько, полковник ему вторил баском, но не без почтительности. Нина, казалось, была вполне довольна своим престарелым кавалером, а он — совершенно размяк под синим пламенем ее глаз, в сладком облаке женских духов.

Уже люстры начали слегка качаться, уже предприимчивее стали мужчины, как вдруг в дверь постучали. Солдат-посыльный вытянулся перед нахмурившимся генералом:

— Пакет-с, ваше превосходительство. Приказано в собственные руки.

Пока генерал распечатывал письмо с надписью «весьма секретно», не то электричество мигнуло, не то Нина обменялась взглядом с солдатом.

А генерал, прочтя, заскрипел ворчливо:

— Такая досада, господа, надо ехать в кабинет на Полтавскую улицу. Машина есть?

— Так точно, ваше п-ство!

— Папочка, возьми меня с собой! — нежно просила Нина, теплым взором растапливая колебание старого жандарма.

Мог ли он устоять?

Сели в автомобиль. Посыльный сел с шофером.

Дорогой Нина была совсем «пайнкой»: и от руки дряхлой не отстранялась и от гнилого рта не отворачивалась.

Ласкова была она и в кабинете его превосходительства, что во вто-

ром этаже налево. Ни бумагами, ни делом генерала не интересовалась, не любопытствовала.

А он написал все, что требовалось, позвонил и отдал офицеру:

— Отнесите лично по назначению.

Нина была ласкова.

Старческие руки ходуном ходили, отыскивая крючки на корсаже, когда подсел к ней на широкий диван. А она слабо лишь, очень слабо протестовала:

— Не надо, не надо... услышат!

Дрябло засмеялся:

— Некому услышать, душечка! офицера дежурного я нарочно отослал. Во всем втором этаже мы с тобой одни, не считая этого дурака-анархиста рядом...

И рука сластолюбивая уже в кружевах тонких скользила, жадно разыскивая нежную девичью наготу.

— Не надо, не надо... Дверь... — девушка протестовала слабо.

— И дверь закрыл я, кошечка... никто... не придет...

— Хорошо, пусть на минутку, я сама...

Старик на минуту принял руки.

А в следующий момент... он автоматически поднял их вверх: прямо на него смотрела неприятная черная дыра маленького блестящего браунинга.

Нина смеялась совсем весело, как будто держала в руках забавную блестящую игрушку и играла в веселую игру:

— Так-так, ваше превосходительство, вы очень предупредительны, благодарю вас. Знаете, в таком положении ваши руки менее противны...

Только через минуту оледеневший генерал смог пролепетать:

— Что вы хотите от меня?

— Пустяк: ключ от соседней комнаты, где сидит Зыбов. Нет, нет, не беспокойтесь доставать сами — ваши руки заняты. Скажите только, где он?

Через две минуты ошалевший от радости Зыбов при помощи Нины Георгиевны связал шнуром от портьеры генерала, не помышлявшего о сопротивлении, и положил его навзничь на диван.

Смотря на него смеющимися глазами, Нина сказала:

— Благодарю вас за содействие, ваше превосходительство. На память о нашей встрече я дарю вам свой платок. Вы, помнится, выражали желание иметь его...

И «нежный сувенир» — тонкий надушенный платок Нины — был заткнут в рот «его превосходительства».

Зыбов же одел генеральскую шинель, сапоги со шпорами и фуражку. Не хватало только белой бороды, чтоб сойти за генерала.

Быстро пошли вниз, надеясь проскользнуть в полумраке коридоров мрачного здания.

Внизу за столиком дремал «цербер». Лампочка горела ясно. Заслышав шпоры, цербер вытянулся спросонок, но увидел странное в лице «генерала» и ухватил его за рукав.

Откуда-то вынырнул второй. Нину схватили за руки, не успела достать браунинг.

Истощенному молодому человеку и слабой девушке — как справиться с двумя дюжими шпиками? А тут еще открылась наружная дверь и вбежал третий.

— Погибли!..

Но вбежавший со странной ловкостью стукнул каким-то предметом по очереди одного и другого шпики, свалив их с ног, и крикнул:

— В автомобиль, живо!

Все трое почти упали в авто. В неожиданном спасителе читатель узнал бы «посыльного», принесшего пакет генералу.

Автомобиль рванулся вниз, круто повернул направо. Вслед грохнуло несколько выстрелов. Две пули впились в лакированное крыло.

Мотор мчался к Амурскому заливу.

Через полчаса вся охранка была поднята на ноги. Но автомобиль, — как в воду канул.

Один чудаковатый шпик, любитель природы, купавшийся в 12 часов ночи на Амурском заливе, клялся и божился, что автомобиль влетел в воду, где и скрылся. За что и получил строгий выговор от начальства.

Опрошенные китайцы-джонщики в один голос заявили, что видели в эту ночь черта с огненными глазами, который живет под водой.

Г. Травин.

**СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
Б. БЕТЕ**

А. Несмелов

СЛУЧАЙ

Борису Бета

Вас одевает Ворт или Пакэн?
(Я ничего не понимаю в этом.)
И в сумрачном кафе-америкэн
Для стильности встречались вы с поэтом.

Жонглируя, как опытный артист,
Покорно дрессированным талантом,
Он свой весьма дешевый аметист
Показывал сверкальным бриллиантом.

Но, умная, вы видели насквозь
И скрытое под шелком полумаски,
Ленивое славянское «авось» —
Кололи колко острые гримаски.

Когда ж в гостиных заворчало «вор!» —
Предчувствуя уродливую драму,
Вы первая сорвали приговор
И бросили на провод телеграмму.

И трус на миг остановил клинок
Над узелком испытанной развязки,
И щупальцы склонявший осьминог
Был ранен жестом смелой буржуазки.

А. Несмелов

АВАНТЮРИСТ

Борису Бета

Весь день читал (в домах уже огни)
Записки флорентийца Бенвенуто.
Былая жизнь манила, как магнит,
День промелькнул отчетливой минутой.

Панама. Трость. Тяжелый шар упал.
С морских зыбей, с тысячеверстных тропок
Туман, как змей, закованный в опал,
Ползет внизу, в оврагах синих сопок.

— Вся ночь моя! — Его не ждет жена:
Покой судьбы — ярмо над тонкой выей.
Как та скала: она окружена
И все-таки чернеет над стихией.

Со складок туч фальшивый бриллиант
Подмел лучом морскую площадь чисто.
— Как сочетать — пусть крошечный — талант
С насмешливым умом авантюриста?

Бредет сквозь ночь. В кармане «велодог»,
В углу щеки ленивая усмешка...
— Эй, буржуа! Твой сторож, твой бульдог
Заснул давно: на улице не мешкай.

Притон. Любовь. Страдание и грязь
Прильнут к душе. Так оттиск ляжет в глине.
А завтра днем, над книгою горбясь,
Дочитывать бессмертного Челлини...

А. Несмелов

УРОК

Борису Бета

Ты сорванец, и тусклый алкоголь
Оттягивает выстрелы таланта.
Твои друзья — расслабленная голь,
А твой ночлег — китайская шаланда.

Но подожди, и мышцы крепких скул
Ты вывихнешь одним скрипящим стиском,
И ветка жил нальется по виску,
И день придет — птенец с голодным писком.

А нынче — жизнь. Бульвар, и ресторан,
И женщины прижатый локтем локоть.
Весь мир тебе — распластанный экран,
А мудрое томление далёко.

Не попадись в его томящий круг,
Не верь подделывателям алмазов.
И я тебе, мой пораженный друг,
Как Митеньке — папаша Карамазов.

М. Щербаков

СОВРЕМЕННОСТЬ

Борису Бета

Когда-то царственным венцом
Венчался вождь сердец — певец,
И свитки пламенных канцон
Хранил раздушенный ларец.

Теперь же должен ловчий слов
Идти на грубый лов монет,
И сыпать жемчуга стихов
В надменный крик столбцов газет.

Но не пропустит зоркий взор
Среди реклам и жирных строк
Твоих стихов простой набор,
Как в щебне — голубой цветок!

Л. Гомолицкий

ПАМЯТИ БОРИСА БУТКЕВИЧА

Твоя судьба, великий трагик — Русь,
в судьбе твоих замученных поэтов.
Землей, намокшей в крови их, клянусь:
ты не ценила жизней и сонетов.

Пусть тех нашла свинцовая пчела,
пусть в ураганах подломились эти —
судьбой и скорбью вечною была
причина смерти истинной в поэте.

Черт искаженных — исступленный вид! —
твоих жестоких знаков и волнений
не перенести тому, кто сам горит,
сам исступлен волнами вдохновений...

Не только душ, но их вместилищ — тел,
горячих тел — ты тоже не щадила.

Я трепещу, что высказать успел
все, что молчаньем усмирит могила.

В тот год, когда, разбужена войной,
в коронной роли земли потрясала, —
ты эти зерна вместе с шелухой,
в мрак мировой рассыпав, растоптала...

В чужую землю павшее зерно,
раздавленное русскою судьбою!
И утешенья гнева не дано
нам, обреченным на одно с тобою.

Наш гнев устал, — рождаясь вновь и вновь,
он не встречает прежнего волненья,
и вместо гнева терпкая любовь
встает со дна последнего смиренья.

**НЕКРОЛОГИ
ВОСПОМИНАНИЯ**

нашими ногами еще оставался клочек русской земли—сумбурный, нелѣпый, милый Владивосток.

Едва-ли мнѣ приходилось встрѣчать когда-либо в жизни такое расхождение между внѣшним и внутренним обликом человека, как то было у Бориса Васильевича. Я ясно помню, как вскорѣ послѣ каппелевскаго переворота во Владивостѣ, то есть весной 1921 года, в редакціи газеты „Русскій Край“, гдѣ я тогда работал, впервые появилась плечистая приземистая фигурка в предѣльно засаленной и расхлястанной кавалерійской солдатской шинели и клѣтчатой кепкѣ. Голова у этой фигурки была большой, лицо—лобастым, широкоскулым и землистым, с настолько рѣзко выраженной ассиметріей сторон, что казалось часто перекошенным в гримасу. Но зато глаза были пытливыми, умными, застѣнчивыми и какими-то дѣтскими.

—Борис Бета, талантливый поэт и прочее... Отлично кушает водку...—отрекомендовал его то же рабогавшій в газетѣ Леонид Ещин.—Милорд, чѣм нас сегодня порадуете?...

И Бета, промямливъ что-то басом, сконфуженно полѣз в карман за пухлой рукописью на газетных гранках, обнаружив под ней возможной шинелью столь-же нелѣпые в той обстановкѣ гольфные коричневые брючки и спортивные чулки.

Не могу сказать, чтобы творчество Бориса Васильевича захватило меня сразу-же. Он принадлежал к тѣм авторам, с недостатками которых надо сначала свыкнуться, чтобы затѣм оцѣнить их достоинства. У каждаго пишущаго есть болѣе или менѣе индивидуальный художественный канон, который кажется ему, естественно, наиболѣе правильным. А в вещах Беты, в особенности в его стихах, многое царапало меня, казалось сырым, невнятицей, нѣкоей недодѣланностью или косноязычіем, которыя особенно обидно рѣзали слух рядом с блестящими строфами, невольно остававшимися в памяти.

Когда я познакомился поближе с Борисом Васильевичем, причина всего этого в его вещах стала мнѣ понятной. Из всего богемнаго Владивостока—а в тѣ годы там еще сохранились осколки настоящей, я бы сказал „классической“ русской богемы—вѣроятно самым богемным был Бета. Утром он рѣдко знал, гдѣ будет спать ночью. И эта богемность была у него не только прирожденной привычкой (в одном из стихотвореній он упоминает о цыганской крови в жилах отца), но и вполне сознательным принципом, который Бета методично проводил в своей жизни „наперекор стихіям“.

Ставя творчества превыше всего, Борис Васильевич считал, что творец уже за одно то, что дает другим высокое наслаждение своим искусством, имѣет право быть свободным от всякаго иного труда, от всѣх матеріальных забот. Об его жизненных удобствах должно думать общество. Прав-ли он был, или нѣтъ—это вопрос иной, но в условіях революціоннаго Владивостока, а затѣм первых эмигрантских лѣтъ такой взгляд, ясно, оставался чистой романтикой. И поэтому, несмотря на сравнительно приличный заработок

БОРИС БЕТА-БУТКЕВИЧ

На смерть талантливого поэта

Летом 1920 года в редакцию газеты, в которой я в то время работал в г. Владивостоке, принесли письмо на мое имя. В письме были стихи и записка. Некто, подписавшийся Борисом Буткевичем, предлагал мне купить для газеты его стихотворения за двадцать пять иен и пояснял, что деньги нужны ему неотложно для того, чтобы уехать из Владивостока.

Я вышел в приемную. Там стоял коренастый парень в солдатской шинели. Шинель была без хлястика и напоминала капот. Лицо у парня было серое, нездоровое и кривилось левой стороной: от носа к губам набегала глубокая, как от боли складка.

— Пусть придет Буткевич, — сказал я.

— Это я, — был ответ.

— Тогда пойдете ко мне.

От нового знакомого я узнал, что он офицер; как и мы все — «в резерве», ибо не хочет служить у красной владивостокской власти. В разговоре выяснилось, что Буткевич окончил офицерскую — казачью — школу у атамана Калмыкова в Хабаровске. Следовательно, офицерству его было в то время года два, не больше.

В тот день мы впервые вместе пообедали (в ресторане с верандой над морем), выпили водки и стали приятелями. Стихи Бориса Беты — он их так подписывал — мне очень понравились. Я показал их Сергею Третьякову и Николаю Асееву, с которыми тогда дружил. Однако, оба они отнеслись к стихам Беты холодно. От этих поэтов впервые услышал то, что всю жизнь свою сам Бета всегда слышал о своих стихах:

— Талантливы, мол, но не обработаны.

С этим я не согласился, как и никогда не соглашался.

— Почему же «не обработаны», если стихи эти, и в настоящем их виде, заставляют нежно погладить взглядом кривящееся лицо их странного автора? Чего же еще требовать от стихов?

Я тогда собирался издавать во Владивостоке журнал и издал один номер «Востока». В нем впервые появились стихи Беты.

С моей легкой руки Борису Бете повезло.

На рассказ его, напечатанный в том же «Востоке», обратил внимание М. Н. Вознесенский, редактировавший в то время во Владивостоке большую газету «Голос Родины».

Он взял у Беты несколько рассказов и предложил ему писать для

газеты роман. Из романа ничего не вышло, — Бета напечатал лишь отрывок, — но все-таки газета дала моему новому приятелю возможность существовать сносно. Дикая солдатская шинель без хлястика исчезла безвозвратно. Бета стал щеголять в коричневом костюме английского фасона — короткие штанишки с чулками. Лицо порозовело. Откуда-то появился особенный, манерный, скользящий шаг, корнетское присюсюкивание и: «Мы, гусары!»

Немало детского оставалось еще в моем приятеле.

* * *

Я знал Бету три года, с 1920 по 23-й, когда уже при большевиках он бежал из Владивостока, перейдя границу у села Полтавки.

За три года у Бориса Беты не было своего угла, — ни квартиры, ни комнаты, ни даже какой-нибудь определенной «койки». С появлением в печати первых его произведений — появились у Беты и деньги и, по нашим заработкам, — немалые.

Цыганская натура, — Бета и жил по-цыгански. У него, например, никогда не было больше одной рубашки, — одна смена белья. Когда же белье становилось грязным, — а Бета любил франтить и был баричем, — он покупал себе новое белье, грязное же выбрасывал.

Во Владивостоке Бету очень любили, о нем заботились, как о ребенке. Обычно он жил у кого-нибудь из своих приятелей или поклонников, имеющих семьи.

Никакой подневольной — для куска хлеба — работы Бета никогда не делал; если ему предлагали где-нибудь службу, он обычно отвечал:

— Мой труд — мои рассказы. Не виноват же я, что за них так мало платят.

Он был прав, но только отчасти. За литературный труд Бете платили достаточно. Достаточно для того, чтобы быть сытым и иметь свой угол, но мало, конечно, чтобы вести жизнь «сноба», которую он любил. Легкую, веселую, пьяную жизнь с литературным досугом от нечего делать. Бета презирал многое из того, на что необходимо было *сжаться*, чтобы не погибнуть. В этом отпрыске старого дворянского рода было много от его предков, проматывавших свое состояние по цыганским таборам. Только Бета тратил не деньги, а свой талант, свою исключительно нежную душу.

За свои владивостокские годы Бета написал много рассказов и стихотворений. Почти все это сохранилось у его поклонников и поклонниц. Собственно, на его долю — *на Дальнем Востоке* — выпала большая удача. Почти каждая его строка попадала в цель, находила восторгающееся сердце. Его стихи шли к читателю еще до напечатания — переписывались и береглись. Много рукописей Беты имеется у В.

Н. Иванова, у В. А. Ивановой, у М. В. Щербакова и О. Н. Бари. Есть они и в других местах.

Бета любил дарить стихи. Он знал, что их будут беречь, может быть, больше, чем его самого. А, быть может, он чувствовал, что эти лоскутки теперь пожелтевшей бумаги, — переживут его. Бета часто говорил о смерти. В творчестве Беты и в судьбе его стихов есть нечто роднящее его с другим большим поэтом, в годы революции тоже жившим в Сибири. Говорю о Георгии Маслове.

* * *

В моей первой книжке стихов, которая вышла во Владивостоке в 21 году, я посвятил Бете стихотворение. Но крепко я никогда не любил его, он меня — тоже. Мое ироническое отношение к его скорбям и мучениям сердило его. В свою очередь, меня раздражала его элегичность.

Близкими друзьями его были — Михаил Щербаков и Всеволод Иванов, а еще ближе — те веселые и шумные молодые люди, с которыми он проводил ночи в портовых кабачках и барах Владивостока. Много вреда принесли ему эти кабачки!

По утрам я часто встречал Бету, и обычно он был в подавленном состоянии. Лицо кривилось, левая щека подергивалась. У моря, — а оно шумело угрожающе под высоченным обрывом, — Бета раз сказал мне:

— Знаете, — (мы так и не перешли на «ты», хотя много раз пытались сделать это и неоднократно пили на брудершафт), — знаете, мне сегодня так тяжело, что я плакал!

Я пожал плечами.

— В этом признаваться надо женщинам. Чем я могу утешить вас? Не умею!

Мы расстались почти врагами. Бета никогда не мог простить мне этих слов. Но я тогда мог сказать ему *лишь эти слова*. Не говорить же пошлости: «Не пейте, не шляйтесь по ночам черт знает где», «обрабатывайте свои стихи», «работайте». В сказанных мною словах была злость любви, досады, сознание своего полного бессилия изменить что-либо в этом человеке.

Последний раз я встретился с Бетой в 23 году, зимой. Владивостоком в то время уже владели большевики и мы оба превратились в безработных и нищих. Все-таки я жил более сытно, чем Бета. Из его друзей в городе уже никого не осталось — все бежали.

В эту ночь Бета ночевал у меня, а жил я в ту пору в пяти верстах за городом, в районе бухты Улисс, в кирпичном крепостном домике, пострадавшем от японских гранат. В эту ночь по кровле моего жилища гремел тайфун, а утро неожиданно пришло весенне-тихое, солнечное, снежное. Мы пошли в город. Когда поднялись на сопку, откуда был виден

Владивосток и море, — глазам стало больно от неистово блестящего, только что выпавшего снега.

Встали и дышали, и в этом было большое наслаждение. Дышали тишиной и холодом.

Через неделю Бета бежал из Владивостока и благополучно добрался до Харбина. Мы получили от него два письма, оба полные бодрости и радости. Менее чем через год бежал в Харбин и я. В тот день, когда, проблуждав тайге и сопках девятнадцать дней, я вышел к железной дороге и сел в поезд, Бета покинул Харбин, направляясь в Шанхай. Оттуда он уехал в Европу.

* * *

Н. Берберова в «П.Н» пишет, что она хотела повидать Бету. В Марселе, на вокзале назначена была встреча, но поэт не пришел. Пришел приятель Беты и передал: Бета болен, прибыть не может.

В 1924 (или 25) году Бета так писал нам об этом несостоявшемся свидании:

— Через Марсель проезжали две поэтессы — Берберова и Одоевцева. Они хотели меня видеть и пригласили прибыть на вокзал, но я не пошел, потому что стыжусь жалкого вида своего костюма.

Это письмо Беты, с приветами друзьям, было в то время напечатано в «Рупоре». Тогда мы смеялись: «Чудак, все такой же, как и был. “Лихой гусар!”» Теперь же с горечью в душе я думаю так:

— Будь у него, бедного, его коричневый английский костюмчик, в котором он щеголял во Владивостоке, он бы пришел на вокзал, — и тогда жизнь его, быть может, сложилась бы иначе. Ведь мог же Бета явиться ко мне в своей ужасной растерзанной шинели, мог же просто попросить денег... Почему же у него не хватило на это мужества в Марселе? Несчастный, милый выродок!

В прошлом году мы, дальневосточники, тщательно искали следов Беты. Я писал сотруднику «Современных Записок» М. О. Цетлину, прося его указать мне адрес Беты. Отвечая мне, Цетлин ничего не написал о Бете: не знал или забыл. В журнале «Рубеж» напечатали стихотворение и рассказ Беты, полагая, что он узнает об этом и откликнется, — ведь нуждался же он в нескольких сотнях франков. Бета не отозвался.

Я думал, что он уехал в СССР и полагал, что это неплохо для него. Ведь даже Соловки были бы лучше бродяжьей, беспаспортной жизни во Франции со смертным концом в марсельской больнице.

И зачем, зачем только он уехал от нас в этот подлый, проклятый Марсель!

НА СМЕРТЬ Б. В. БУТКЕВИЧА

Вслед за Леонидом Ещиным ушел второй из нашей кучки литературной молодежи, унесенной революционными годами на Дальний Восток: в Марселе, в городской больнице, вероятно, в полной нищете и одиночестве, скончался в прошлом августе 35-ти летний даровитый поэт и беллетрист Борис Васильевич Буткевич, писавший под псевдонимом «Борис Бета».

Не могу не вспомнить о нем не только потому, что был с ним в приятельских отношениях и что он был талантлив, но также и потому, что он всецело наш, дальневосточный автор, начавший впервые печататься на Дальнем Востоке в те времена, когда под нашими ногами еще оставался клочок русской земли — сумбурный, нелепый, милый Владивосток.

Едва ли мне приходилось встречать когда-либо в жизни такое расхождение между внешним и внутренним обликом человека, как то было у Бориса Васильевича. Я ясно помню, как вскоре после каппелевского переворота во Владивостоке, то есть весной 1921 года, в редакции газеты «Русский край», где я тогда работал, впервые появилась плечистая приземистая фигурка в предельно засаленной и расхлястанной кавалерийской солдатской шинели и клетчатой кепке. Голова у этой фигурки была большой, лицо — лобастым, широкоскулым и землистым, с настолько резко выраженной асимметрией сторон, что казалось часто перекошенным в гримасу. Но зато глаза были пытливыми, умными, застенчивыми и какими-то детскими.

— Борис Бета, талантливый поэт и прочее... Отлично кушает водку... — отрекомендовал его тоже работавший в газете Леонид Ещин. — Милорд, чем нас сегодня порадуете?..

И Бета, проямлив что-то басом, сконфуженно полез в карман за пухлой рукописью на газетных гранках, обнаружив под невозможной шинелью столь же нелепые в той обстановке гольфные коричневые брючки и спортивные чулки.

Не могу сказать, чтобы творчество Бориса Васильевича захватило меня сразу же. Он принадлежал к тем авторам, с недостатками которых надо сначала свыкнуться, чтобы затем оценить их достоинства. У каждого пишущего есть более или менее индивидуальный художественный канон, который кажется ему, естественно, наиболее правильным. А в вещах Беты, в особенности в его стихах, многое царапало меня, казалось сырым, невнятицей, некоей недоделанностью или косноязычием, которые особенно обидно резали слух рядом с блестящими

строфами, невольно остававшимися в памяти.

Когда я познакомился поближе с Борис Васильевичем, причина всего этого в его вещах стала мне понятной. Из всего богемного Владивостока — а в те годы там еще сохранились осколки настоящей, я бы сказал, «классической» русской богемы, — вероятно, самым богемным был Бета. Утром он редко знал, где будет спать ночью. И эта богемность была у него не только прирожденной привычкой (в одном из стихотворений он упоминает о цыганской крови в жилах отца), но и вполне сознательным принципом, который Бета методично проводил в своей жизни «наперекор стихиям».

Ставя творчество превыше всего, Борис Васильевич считал, что творец уже за одно то, что дает другим высокое наслаждение своим искусством, имеет право быть свободным от всякого иного труда, от всех материальных забот. О его жизненных удобствах должно думать общество. Прав ли он был, или нет — это вопрос иной, но в условиях революционного Владивостока, а затем первых эмигрантских лет такой взгляд, ясно, оставался чистой романтикой.

И поэтому, несмотря на сравнительно приличный заработок в газетах, Бета или кочевал по знакомым, или проводил ночи на редакционных столах и талерах печатных машин, а нередко и просто под открытым небом, на скамейке подле памятника Невельскому, о чем он сам рассказывает в поэме «Взморье, где я жил»:

«Не одолеть тебе бродягу,
Не позевну, не позвонюсь,
Над бухтой на скамейке лягу,
На сыроватой протянусь...»

И дальше:

«У Невельского, на скамейке,
Глядеть бы вечно на июнь,
Понюхать ветку — запах клейкий
И слушать чайкой — Гамаюн...»

Следует ли после этого удивляться, что Бета пил, и временами — сильно. Но периодами его обветренное и загорелое лицо приобретало менее землистый оттенок, а костюм и обувь — более свежий вид. Это значило, что Бету приютил кто-нибудь из семейных поклонников его таланта, заставил взять себя в руки и воздерживаться от алкоголя. Затем Борис Васильевич снова срывался, обычно ссорился с хозяевами, так как алкоголь обострял его природную обидчивость, и снова становился бездомным бродягой.

Вероятно, немалую роль в этом образе жизни сыграла и его неудачная любовь к одной из тогдашних обитательниц Владивостока,

отраженная с иронической усмешкой над самим собой едва ли не в большинстве его вещей того периода.

Таким Бета был в Приморье, таким же он провел некоторое время в Харбине, нелегально перебравшись туда через границу после занятия Владивостока большевиками. Таким же он оставался и здесь, в Шанхае, где Бета провел некоторое время, ожидая отъезда с сибирскими кадетскими корпусами в Сербию.

Несомненно, что его не переменяла и Европа; только жизнь там много требовательнее и в последнем письме, полученном Вс. Ивановым из Марселя в 1926 или 27 году, не помню точно, Борис Васильевич писал нам, что работает кочегаром на пароходе, плавает по Средиземному морю. Последний его рассказ, помещенный в № 5 «Чисел» — «Возвращение Люсьена» — носит, конечно, автобиографический характер и отражает его жизнь последнего времени, суровую жизнь «докера», портового грузчика.

Об этом свидетельствуют также отрывки его писем к Нине Берберовой, которые последняя приводит в своей статье о смерти Б. В. Буткевича, напечатанной в «Последних новостях».

«Я ношу мешки в порту, — пишет ей Борис Васильевич, — и вечером трясутся руки, смертельно не хочется думать... Внешняя жизнь моя очень бестолкова: сейчас я “докер”, а весной кочегаром плавал к африканским берегам и к малоазиатским, летом был пастухом... Только что вернулся из Нижних Альп, где пас коров... Моя работа с тяжестью не прекращается... Я намерен отправиться на уборку мусора...»

Вот что смогла дать несомненно талантливому начинающему писателю «старушка-Европа», в которую он так рвался. А ведь после напечатания его рассказа «О любви к жизни», сам И. А. Бунин, по свидетельству той же Н. Берберовой, спрашивал: «Кто такой Буткевич? Талантливый человек. Много, очень много хорошего».

«Критики, — пишет она далее, — отнеслись к неведомому автору благосклонно. Окрыленный, он стал посылать в Париж повести, стихотворения... Они пропадали где-то в редакционных столах, в редакционных корзинах...» «От него остался ненапечатанный роман “Голубой павлин”, затерянный в одной из парижских редакций...»

Следует ли после этого удивляться, что, видя такое отношение к своему творчеству со стороны русских парижских издательств, Борис Васильевич пришел в отчаяние и писал:

«Я упустил все сроки сделаться хорошим прозаиком. Вот уже два года, как я ушел из жизни и никто из моих друзей ничего обо мне не знает. Она нелегкая, моя теперешняя жизнь, но становится еще тяжелее, когда я начинаю пытаться куда-то выскочить, начинаю изображать из себя беллетриста, когда удел мой быть докером, кочегаром, пастухом...»

Жутью, холодной жутью полного отчаяния веет от всех этих строк. И особенно обидны для нас слова о том, что Бета по небрежности пре-

рвал связь с нами, своими дальневосточными друзьями, которые неоднократно разыскивали его следы и даже печатали в харбинском «Рубеже» бережно хранившиеся его рукописи, чтобы заставить его откликнуться. Ведь мы, конечно, не последовали бы примеру парижских редакций, а поддержали бы его веру в себя и свой талант, и это, быть может, спасло бы его от преждевременной нелепой гибели.

Да и вообще, останься Борис Васильевич здесь, на Дальнем Востоке, его творчество, в котором было столько своеобразия и нежной прозрачности, имея некоторую материальную и большую моральную поддержку, наверное развернулось бы много шире, так как на внимание со стороны дальневосточных читателей и редакторов Бете жаловаться не приходилось и на долю его вещей выпал здесь редкий, пожалуй даже — исключительный успех.

Трудно сказать, в чем интереснее Бета, в стихах, или в прозе. Может быть, наиболее своеобразным был он в своих прелестных, кружевных миниатюрах, так как эта форма, не стесняя требованиями стихотворной техники, давала ему возможность наиболее яркого выражения причудливой нежности и легкости его большого лирического дарования.

Бета всегда элегичен и романтичен. В его стихах яснее всего просвечивает Блок, преломленный через влияние позднейших футуристов, в особенности, пожалуй, Пастернака. Приемами последнего — сдвигами планов, не непосредственным, а как бы вторичным отражением действительности — Бета часто пользуется в построении своих художественных образов. Сам он считал себя учеником Н. Гумилева, однако в его стихах мало четкости и яркости, присущих акмеизму.

Тематика его поэзии очень разнообразна, но в общем тоне его лирики лишь изредка звучат жизнерадостные нотки. Да и сам он любил слова: «угрюмый», «хмурый», «мрачный». Динамика его стихов часто достигает большого напряжения, а ритмическое движение дает иногда интересные мотивы, в особенности в «Фокстротной поэме» (сборник «Парнас между сопок». Владивосток. 1922 г.). Однако, в общем, стихи его по большей части технически «сыроваты», недостаточно обработаны.

Что касается прозы, то большинство его вещей, печатавшихся на Дальнем Востоке, были удачной стилизацией и Бета мечтал выпустить их в Европе отдельным сборником. Среди них некоторые удивляли исторической эрудицией автора.

Для прозы Буткевича характерна легкость, с которой идет развер-

тывание сюжета и та творческая интуиция, которая позволяет ему превращать самую, казалось бы, избитую тему в художественную вещь. Словесные краски Беты акварельно-легки и воздушны; на них почти везде лежит некоторая печальная туманная дымка, лишь изредка подымающаяся, чтобы показать вещи в неожиданно-резком и смелом повороте.

Темы этого цикла рассказов, независимо от стилизованной автором эпохи, почти всегда — несчастная любовь и гибель от нее.

Видение под внешней оболочкой вещей других, трансцендентальных сущностей — вот в чем основная черта и аромат творчества несчастного погибшего художника.

ИЗ КНИГИ «КУРСИВ МОЙ»

В связи с этим вспоминаю другой случай: в 1926 году некто Борис Буткевич прислал из Шанхая рассказ в «Новый дом», который я немедленно напечатала — он был талантливый, и все потом (даже Бунин) говорили, что автор «обещает». Мы стали переписываться. Буткевич с Дальнего Востока переехал в Марсель. В 1928 году, когда я ехала из Канн в Париж, я дала ему знать, чтобы он пришел на вокзал, я хотела ему помочь устроиться хотя бы марсельским корреспондентом «Последних новостей» (он очень тяжело работал). Выхожу в Марселе на платформу. Стоит перед вагоном маленький человек, скромно одетый, курносый, с глупым лицом и повадками провинциала. Я подошла. Стали разговаривать. Я старалась не замечать его внешности и сразу перешла к делу. Вдруг человек говорит: «Я — не Буткевич. Извините, только Буткевич не пришел, я за него». «А где же он?» — спросила я, сердце мое упало. Я почувствовала, что сейчас ужасно рассержусь.

— Они не пришли, — сказал человек, — потому что у них нет нового костюма, а в старом они стыдятся.

Я онемела. Мысль, что кто-то не пришел из-за дырявого пиджака и стесняется МЕНЯ! боится МЕНЯ! мне показалась совершенно абсурдной. Соображение, что прислан был какой-то идиот, чтобы мне об этом сказать, привело меня в бешенство. Но я сдержалась и сказала:

— Очень жалею.

И пошла в свой вагон. Человек с глупой улыбкой смотрел мне вслед.

Позже Буткевич извинился передо мной, написав мне, что он был болен и к поезду прийти не мог. Я своих чувств к нему не изменила: писала ему, устроила две его корреспонденции в газету и, когда он умер на больничной койке, написала о нем некролог.

ИЗ ПИСЬМА К Н. БЕРБЕРОВОЙ

Четверг.

Le Cannel <1927>

Мы приедем на будущей неделе, милая Нина. И, конечно, сейчас же увидимся... А я вам хочу написать о Буткевиче.

Не знаю почему, но я, как-то во всех смыслах его представляла иначе, и даже все «о нем» иначе. Он, во-первых, вовсе не «юный», а с виду даже и не очень молодой (старше Володи). Маленького роста, гораздо ниже меня, но широкоплечий. Похож сначала на рабочего (хотя одет не как рабочий), а при рассмотрении — на учителя провинциального, или даже не провинциального, а просто. Он — сын уфимского предводителя дворянства (расстрелянного большевиками), в университете учился Московском, но бывал и в Петербурге. Служил у Колчака (офицером) — и тут у него длиннейшая история, обычная — и странная — русская эпопея. Японцы спасли его из Че-Ка, за несколько дней до расстрела. Раньше он был контужен, и правый глаз у него плохо видит. Он побывал везде (мал земной шар!), испытал, если не все, то почти все, был и редактором газеты (во Владивостоке) и учителем гимнастики. Немногословен. Только кратко отвечает на вопросы. Но просто, без угрюмости. Лицо обветренное, нос красноватый; может быть, он и пьяница, и эксцессник — этого не знаю. И это, вообще, скрыто; никаких «богемно-эстетических» манер. Производит впечатление культурного человека, литературу знает, мнения у него простые и верные. Оказывается, был в Париже, но не мог найти там никакого приличного труда и «ушел» в Марсель. Последние годы жизни (или «жития») дали ему какую-то «дикость», сделали каким-то... не умею найти точного слова, но будто у него все «отбито», вот как говорят — «печенки у меня отбиты». Физический труд? Он, по-моему, его «не любит». Но на него способен: «я занимался спортом».

Здесь он, конечно, не останется. А только пока Крамаров выхлопочет ему паспорт, который он потерял (где, как? Темновато). Потом поедет в Париж. Пусть Вл. Фел. спросит о нем Ренникова: Буткевича Р-в знает, но, и кажется, хорошо.

А куда девался его большой рассказ «Голубой павлин»? Об этом рассказе Б. интересно рассказывал Володе. Бунин весной передал его Семенову. Верно, погиб. Копии у Б. нет. Он не одну «беллетристику» может писать, а, кажется, «все». В отзывах (критических) очень сдержан, осторожен и верен.

СМЕРТЬ БУТКЕВИЧА

В 1926 году в редакцию маленького литературного журнала, в котором я принимала близкое участие, пришел пакет с рукописью. Рассказ назывался «О любви к жизни». Имя автора в Париже не было известно, но знакомства не всегда бывают нужны в таких случаях: рассказ был очень хорош, талантлив, своеобразен, остер. «Новый дом» его напечатал.

Сообщая об этом автору и пересылая ему гонорар, я просила прислать еще что-нибудь, спрашивала, давно ли он пишет, печатался ли раньше? В ответ я получила длинное, подробное письмо: Борис Васильевич Буткевич недавно прибыл с Дальнего Востока, где писал в русских газетах под псевдонимом «Борис Бета», писал рассказы и стихи, пока не стало ему невтерпёж от одинокой, провинциальной жизни, и он переехал в Марсель, где жил в лагере «Виктор Гюго», без документов, без работы. Ему тогда было тридцать лет.

Рассказ «О любви к жизни» имел успех. И. А. Бунин спрашивал меня в письме: «Кто такой Буткевич? Талантливый человек, много, очень много хорошего!» Критика отнеслась к неведомому автору благосклонно. Окрыленный, он стал присылать в Париж повести, стихотворения, написанные неразборчивым, небрежным почерком, всегда талантливые, но часто сырые, — они пропадали где-то в редакционных столах, в редакционных корзинах...

Борис Буткевич не успел стать писателем, он умер три недели тому назад в марсельском госпитале, умер скоропостижно, вдали от близких. Случайный товарищ его прислал мне об этом коротенькое извещение: «У покойного здесь, в Марселе, никого из близких не было, и собрать здесь о них сведения мне не удалось, между тем, здесь все же говорят, что у него была в Париже жена и дочь, но этим только и исчерпываются местные данные. В своих беседах Борис Васильевич много раз упоминал Вас, и потому мне пришла мысль обратиться к Вам с просьбой: не знаете ли Вы более подробных сведений о родных покойного?»

Нет, о родных его я ничего не знаю, но о нем самом, за время нашей с ним долгой переписки, я узнала многое, и об этом мне хочется рассказать теперь, когда он умер. Его судьба — трагическая судьба талантливого русского человека, поэта, бродяги, мечтателя.

Он родился в 1895 году в имении «Надеждино» Уфимской губернии, получил военное образование в Николаевском кавалерийском училище и, воевав на войне большой и на войне гражданской, дослу-

жился до чина штаб-ротмистра 5-го Александрийского гусарского полка. Эвакуация унесла его во Владивосток, оттуда — в Шанхай, в Японию, в Пекин, в Циндао, в Харбин. Там он начал писать, его печатали, у него завелись кое-какие литературные знакомства: друзья его, писатель Щербаков, поэт Несмелов, до сих пор живут в Харбине и сотрудничают в харбинской прессе. Но Буткевича тянуло в Европу, на голод, на беспаспортное житье, на тяжелую судьбу, — в декабре 1924 года он приехал в Марсель. Бог знает, какие мечты жили тогда в его сердце!

«Я ношу мешки в порту, и вечером трясутся руки, смертельно не хочется думать...» «Внешняя жизнь моя очень бестолкова: сейчас я докер, а весной кочегаром плавал к африканским берегам и к малоазиатским, летом был пастухом...» «Моя работа с тяжестями, увы, не прекращается...» «Я работал в холодильнике (под тушами аргентинского мороженого мяса), провел четыре часа при 12 град. мороза, при электричестве, и когда вышел на улицу, на солнце, почти полдненное, ослеп и ошалел...» «Только что вернулся из Нижних Альп, где пас коров...» «Здесьняя развеселая жизнь, признаться, меня утомила. Дух относительно бодр, но тело зачастую сдает — два года работы в порту буду помнить всю жизнь...» «Я намерен отправиться на уборку мусора...»

Вот отрывки из его писем ко мне. Иной работы Буткевич почти боялся, боялся, что раскроется его беспаспортность: «Возможно, что меня посадят в тюрьму или вышлют куда-нибудь. Я уже два года живу, как птица земная, нигде не зарегистрированная. Нам, бродягам, стало в последнее время изрядно туго, даже по улице проходить опасно, опросы документов участились, и подчас приходится проделывать га-рольд-ллойдовские штуки, чтобы избежать встречи с жандармами».

Так проходила его жизнь, и письма, несмотря на бодрость, на иронию, на постоянную живость, сквозили отчаянием. Что было на это отвечать? У него был путь из этой адовой жизни, путь к литературной работе, талант ручался за него. Об этом я писала ему, но со времен шанхайского житья что-то надорвалось в Буткевиче, он слишком недоверчиво относился к своему литературному будущему, трудности страшили его, неудачи смущали; усталый от работы грузчика, он хотел хоть какой-нибудь легкости, какой-нибудь нежности от жизни.

«Я упустил все сроки сделаться хорошим прозаиком. Вот уже два года, как я ушел из жизни, и никто из моих друзей ничего не знает обо мне. Какая-то нелегкая понудила меня написать о “любви к жизни”. Она нелегкая, теперешняя моя жизнь, но становится еще тяжелей, когда я начинаю пытаться куда-то выскочить, начинаю изображать из себя беллетриста, когда удел мой быть докером, кочегаром, пастухом». «Ваши пожелания “пишите и пишите” сообщили мне резвость исключительную. Вы предлагаете мне бороться — с кем и с чем? За право на существование я не перестаю единоборствовать. Это что-то вроде американского бокса, — но без перчаток, и с судьей, который не останав-

ливает даже самых противозаконных ударов. Уверяю вас, что ринг существует, и я на ринге...»

Таково было его настроение в течение многих месяцев, но талант его не позволял мне не верить в него; получая от него рассказы и стихи, я видела, что это великолепные черновики, требующие большой обработки и которые этой обработки *стоят*. Но работать над ними Буткевич не мог: болели руки, болели глаза, не было стола, хотелось пораньше растянуться на холодной кровати и спать мертвым сном после двенадцатичасовой работы. «Вы — мой единственный читатель, — писал он мне, — что ж, может быть, у кого-нибудь нет и такого!»

Мне никогда не пришлось видеть Буткевича: когда я в 1927 году проезжала через Марсель, я условилась встретиться с ним на вокзале, но лихорадка, с которой он был знаком еще давно, трясла его в тот день, и он прислал на перрон, к поезду, своего товарища. Это был единственный случай нам познакомиться после долгой переписки, но мне не было суждено встретиться с моим неведомым другом. После этого он замолчал надолго. Несколько месяцев тому назад внезапно пришло от него письмо — оно было не похоже на прежние его письма.

Оно было сдержанно, его писал человек сквозь зубы, человек тонущий, но упрямо не желающий этого сказать. Он давал новый адрес, и снова присылал мне рукопись — без надежды увидеть ее напечатанной, однако просил, по моему усмотрению, передать ее в одну из парижских редакций. Я послала рукопись в «Числа»; через месяц я узнала, что она принята.

«Единственное, что меня ободряет в моем начинании писать Вам, ободряет мысль, что Вы давным-давно забыли случайного своего литературного корреспондента. В самом деле: три года тому назад я до чрезвычайности извел Вас своей перепиской. Среди моих друзей совершенно нет любителей слушать мои рассказы, правда, это совсем не повод беспокоить Вас, — но простите великодушно!» Далее был намек, что в эти годы ему пришлось увидеть дотоле невиданное и пережить еще не пережитое. И шанхайские, и первые марсельские годы, видно, были трудны по-другому, может быть, по более обыкновенному, чем последние годы, в течение которых он молчал.

Чем была жизнь этого человека, та жизнь, которая не исчерпывается аргентинским мясом, погоней за паспортом, случайной литературной работой? Об этой жизни никто никогда не узнает, — она прошла втайне от тех, кто ценили Буткевича как писателя, кто дорожили им, как другом. Эта жизнь, нам неведомая, привела его, в конце концов, к смерти. От него остался ненапечатанный роман «Голубой павлин», затерянный в одной из парижских редакций, от него, быть может, осталась дочь... Кто хоронил его? Где хоронил? И придет ли кто-нибудь когда-нибудь вспомнить о нем на его далекой могиле?

БОРИС БЕТА
(БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ БУТКЕВИЧ)

Краткий биографический очерк



Биография Бориса Васильевича Буткевича (Б. Беты) восстанавливается с чрезвычайным трудом. Так, практически не имеется сведений о его детских и юношеских годах, участии в Первой мировой и Гражданской войнах, мало известна и его жизнь в Китае и Франции; свидетельства современников обрывочны и зачастую противоречивы.

Б. В. Буткевич родился 10 июля 1895 г. в имении «Надеждино» Уфимской губернии¹ в дворянской семье. По окончании Николаевского кавалерийского училища (Петербург) служил в 5-м Александрийском гусарском полку, получил звание штабс-ротмистра. Дальнейшее покрыто туманом. Если проза Б. Буткевича-Беты может послужить каким-то указанием, он имел отношение к Народной армии Комитета членов учредительного собрания (КОМУЧ), действовавшей в 1918 г. под Самарой, воевал на бронепоезде и в бронедивизионе. В его рассказах упоминаются боевые действия под Бирском (Уфимской губернии), где в мае-июне 1919 г. крупные красные силы столкнулись с белой армией в ходе т. наз. «Бирской операции». Затем Буткевич, очевидно, оказался

¹ Часовой (Париж). 1931, № 66, 15 окт. С. 27.

в Уфе, откуда направился на восток. По сведениям А. Несмелова², «окончил офицерскую — казачью — школу» у атамана Уссурийского казачьего войска И. П. Калмыкова в Хабаровске.

З. Гиппиус в письме к Н. Берберовой упоминает о «контузии»³, затронувшей правый глаз Б. Буткевича; о «больном после контузии глазе» говорится в «Музе странствий», в других рассказах — о ранении в плечо или в ноги. Впрочем, степень автобиографичности ранних рассказов Беты-Буткевича далеко не ясна. Побывал ли он в плену у красных, как герой «Родного дыма»? Участвовал ли в «предприятиях с оружием, с кокаином, с опиумом», как рассказчик в «Тумане с моря»? Ответами на эти вопросы мы не располагаем.

Летом 1920 г. Б. Буткевич прибыл во Владивосток, где завязал дружбу с А. Несмеловым, редактировавшим газету японского командования «Владиво-Ниппо». В первой или одной из первых его публикаций — подборке стихов в журнале «Восток» (1921) — настоящее имя «Б. Буткевич» еще соседствует с псевдонимом «Бета»; позднее он публиковался и был известен во Владивостоке и Китае как «Борис Бета» или просто «Бета».

Б. Бета печатался во владивостокских газетах «Голос Родины», «Наша речь», «Вечерняя газета», «Русский край», «Владиво-Ниппо», «Новая вечерняя газета», «Серебряный голубь», журналах «Юнь» и «Восток». Как вспоминают друзья и приятели владивостокских лет, стихи и проза Б. Беты пользовались большой популярностью; однако, несмотря на относительно приличные литературные заработки, он вел подчеркнуто богемный образ жизни, не имел своего угла и то гостил у знакомых, то ночевал на редакционных столах.

Многие его начинания остались незавершенными: например, начатый по инициативе редактора «Голоса Родины» М. Вознесенского роман «Муза странствий» превратился в «отрывок из романа»⁴.

Незавершенность, торопливость, неотделанность, единодушно отмечавшиеся всеми мемуаристами, стали характерными чертами практически всех сочинений Беты, будь то проза или стихи; но, возможно, именно это и придает им такое исключительное очарование.

В апреле 1922 г. Б. Бета опубликовал в нашумевшем альманахе поэтов «Парнас между сопок» свою «Фокстротную поэму» (помимо Б. Беты, в издании участвовали Вс. Иванов, А. Несмелов и Л. Тяжелов), в конце сентября выступал с Л. Тяжеловым в Никольск-Уссурийске на «вечере богемы» с лекцией о владивостокских поэтах⁵. В октябре 1922 г. Б. Бета вошел в новообразованный «Союз поэтов» — литературно-художественный кружок, объединивший поэтов П. Далецкого, Л. Ещина, Вс. Иванова, А. Несмелова, М. Щербакова и др. и устраивавший во Владивостоке «вечера интимной поэзии»⁶.

В декабре 1922 г. газета «Голос Родины» сообщила, что Литературно-художественной секцией Примгубкомпомгола в пользу голодающих было подготовлено издание детской книжки-сказки Б. Беты «Поездка на елку в Советскую Россию» с иллюстрациями А. Степанова. Сказку предполагалось издать в ко-

² См. в настоящем томе, с. 101.

³ Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor: Ardis, 1978. С. 22.

⁴ Несмелов, здесь же, с. 101-102.

⁵ Владиво-Ниппо (Владивосток), 1922, 1 окт.

⁶ Кириллова Е. О. Забытые имена дальневосточной поэзии: Ясные письмена жизни поэта Бориса Буткевича // Литература и журналистика стран Тихо-океанского региона в межкультурной коммуникации XX-XXI вв. Хабаровск: Изд. ТОГУ, 2011. С. 151, 154.

личестве 3000 экземпляров по 20 копеек за книжку⁷. Видимо, издание так и не вышло в свет: в библиографиях и крупнейших библиотечных собраниях оно не отражено, но видел его и такой собиратель, как А. Ревоненко, сохранивший некоторые письма Б. Беты из Китая и Сербии⁸.

Тем временем обстановка во Владивостоке с ликвидацией в середине ноября ДВР становилась все более удушающей; под «красной» властью демократические издания закрывались одно за другим. В январе-феврале 1923 г. «Новая вечерняя газета» затеяла было публикацию коллективного приключенческого романа «Тайна Безымянной батареи». Среди авторов были редактор газеты С. Наумов, А. Несмелов, поэт Г. Травин и Б. Бета, написавший значительную часть текста (всего газета успела опубликовать пролог и 10 глав). Той же зимой 1923 г. Бета нелегально перешел китайскую границу; история его побега из Советской России отражена в рассказе «Переход границы».

В Китае Бета вел прежнюю богемную жизнь: публиковался в журналах «Маяк», «Гонг» и др., жил в Харбине и Шанхае, у знакомых на курорте Ракатан под Дайреном. В письмах к В. М. Штемпель он описывал свои китайские приключения и приступы тоски:

«Ехал из Мук.<дена> чрезвычайно интересно, еще интереснее (сплошь какой-то К. Гамсун) провожу время здесь. Достаточно сказать, что в первый же день рикши привезли нас вместо “Hotel-Paris” в... полицию!»

«Я вернулся в Харбин в минувшую пятницу с твердым намерением уехать — “по линии наибольшего сопротивления” (лбом!..). И уехал. Имея Ваше письмо и бесплатный билет до Чаньчуня и пять долларов (находка в кармане после проводов). С этой суммой я мог доехать до Дайрена <...> И, хотя у меня была бутылка наливки и штук 30 домаш. пирож.<ков>, — нас потянуло в dining car. И... в Чаньчуне довелось продать с себя кое-какую амуницию — с грехом пополам добрался до Мукдена (28 иен наличности); сейчас (в полдень) сижу на вокзале, боюсь идти в гостиницу (2 иены за номер), знакомых нет, города не знаю — не заплакать ли?»

«Здесь в тишине, думаю обдумать все, оглянуться на самого себя. Все-таки тяжело временами носить с утра до вечера одиночество, тяжело-то ремесло бродяги <...>»

«Я еду отсюда в Шанхай. Но возможно, что уеду отсюда матросом на пароходе Hamburg-America line, — агент этой линии обещал нас устроить. Хорошо бы побывать в Европе, потом в Америке. А потом можно и застрелиться — моя заветная мечта. Самоубийство от счастья, от головокружительной прелести видимого, как Вы это находите?»

«После Ракатана я, угрюмый бездельник, болтался в Дайрене и в Шанхае и в ноябре мес. выехал отсюда в Европу <...>»⁹

Владивостокские, а затем китайские знакомые Беты позднее сетовали, подобно А. Несмелову: «И зачем, зачем только он уехал от нас в этот подлый, проклятый Марсель?»¹⁰ Действительно, в Китае Б. Бете жилось бы, вероятно, комфортней. Но он не мог поступить иначе. Уход, отъезд, перечерки-

⁷ Голос Родины (Владивосток), 1922, 20 дек. См. Кириллова, *op. cit.*, с. 149.

⁸ Ревоненко А. В. <Борис Бета>. Архив А. В. Ревоненко в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова (далее — ХКМ).

⁹ Архив А. В. Ревоненко (ХКМ).

¹⁰ Несмелов, здесь же, с. 104.

вающий всякую возможность оседлости и даже любовной привязанности — доминирующий жест буквально всех его героев. Для этих людей, влекомых по жизни, как и Бета, случайным сплетением обстоятельств, основной и самодовлеющей идеей становится странствование. «Обречены и будем странствовать...» — так написал Бета в стихотворении «Жена», созданном незадолго до отъезда из Шанхая.

Бета выехал из Шанхая с кадетами Хабаровского и 1-го Сибирского кадетского корпусов, отправленными по настоянию китайских властей в КСХС (будущую Югославию); кадеты старших классов отплыли 6 ноября и 9 декабря прибыли в Сплит.

Вскоре в одной из газет «русского» Китая появилась бравурная корреспонденция-письмо, которую мы приведем целиком:

«ХАРБИНЕЦ НА БАЛКАНАХ» “Экспромтное” путешествие молодого пииты

Знакомый Харбину молодой беллетрист и поэт Борис Бета, подвизавшийся здесь и во Владивостоке, недавно приехал в Сербию, в Белград.

Перебравшись из Харбина в Шанхай, он “экспромтом” предпринял путешествие на далекие Балканы.

В только что полученном здесь письме Б. Бета делится своими путевыми впечатлениями.

“Ехал морем из Шанхая в Сполату <Сплит>, — пишет он, — тридцать три дня.

В Гонконге путешествовал на паланкине.

В Сайгоне гладил слонов и пил “сон-сон” (отличный аннамитский напиток).

В Коломбо любовался цейлонскими рубинами и пробовал “граку” (напиток сингалезцев).

В Джибути созерцал страусовые перья, пустыню (прекрасная мать-пустыня!) и негуса.

Между Джибути и Суэцем у меня украли пальто и... продолжение синего пиджака.

Одним словом, в Сполату я приехал угрюмым, но этот город с пальмами, узкими улицами, фонтанами, где берут воду похожие на итальянок далматинки, высокими балконами и развешанным повсюду бельем, с развалинами дворца Диоклетиана и каменными иконами Мадонн, с узорными фонарями и далматинским вином в темных траториях — опьянил меня на целые пять дней.

Одни названия улиц чего стоят!

Перистель, улица Архиепископа, Римская улица, улица Преторианцев.

А потом я ехал на маленьком пароходишке вдоль берега, гор с виноградниками и курортными отелями и приехал в город Метковичи, где летом страшная малярия, а зимой скука, несмотря на всю итальянскую красоту.

И, наконец, поездом через Мостар — Сараево — Броды попал в Белград, где нахожусь сейчас, а через месяц предполагаю быть в Париже.

Теперь готовлю лекцию о дальневосточных поэтах Алымове, Баженовой, Ещине, Несмелове и др.

Нашел себе издателя...

Кланяюсь всем.

Нехорошо, что мне никто не пишет, — заканчивает Б. Бета свое письмо, — прочтите это по всем ротам, эскадронам и батареям»¹¹.

Поистине, только странствуя, Бета был в своей стихии, но воодушевление быстро уступило место тоске и сомнениям.

«С одной стороны будто все удается, а с другой, если хорошо подумать, тоска безысходная, бессилие и бездомность, сомнения и, право, замуроваться бы в монастырь какой-нибудь католических отцов, опоясавшись веревкой, рисовать киноварью и жидким золотом заголовки к книге, которая никогда не будет написана» — это письмо от 27 декабря из Белграда.

Видимо, в начале 1925 г. Борис Бета перебрался в Марсель¹². Начались годы французских скитаний. Бета (во Франции он — в знак ли расставания с прошлым? — все чаще стал вновь стал подписываться «Буткевич») не имел паспорта, страшился ареста, высылки. Согласно его письмам к Н. Берберовой¹³, он плывал как пароходный кочегар по Средиземному морю, побывал на Ближнем Востоке (сохранилась открытка со стихами, датированными «Бейрут, май <1>926»), у африканских берегов и в Малой Азии, работал портовым грузчиком, пастухом в Нижних Альпах; судя по явно автобиографическим рассказам — чернорабочим и сборщиком винограда на фермах южной Франции. Письма З. Гиппиус свидетельствуют, что во второй половине 1920-х гг. Буткевич предпринимал какие-то попытки найти работу в Париже, затем в Каннах, получить паспорт.

В декабре 1926 г. в парижском журнале «Новый дом» был напечатан рассказ Буткевича «О любви к жизни», вызвавший большой интерес к автору. Последовали публикации прозы в журналах «Новый корабль», газете «Возрождение». О Бете положительно отзывались И. Бунин, В. Ходасевич, Д. Философов, знакомства с ним с нетерпением и любопытством ждали Н. Берберова, З. Гиппиус, В. Злобин. Но несмотря на все это, присылаемые им в Париж «повести, стихотворения <...> пропадали где-то в редакционных столах, в редакционных корзинах» (Н. Берберова). Бесследно исчез и «Голубой павлин» — не то роман, не то повесть.

Последней прижизненной публикацией Буткевича стал рассказ «Возвращение Люсьена», напечатанный в № 5 журнала «Числа». Номер поступил в продажу 2 июля 1931 г., а 8 августа того же года Борис Бета-Буткевич умер от туберкулеза на больничной койке марсельского госпиталя Консепсион¹². В этой же больнице за 40 лет до него умер другой поэт-бродяга — Артюр Рембо. Как свидетельствовали современники, Буткевич еще при жизни продал

¹¹ Архив Т. А. Баженовой в Музее-архиве русской культуры при Русском Центре в Сан-Франциско (вырезка из неустановленного изд.).

¹² Н. Берберова указывает «декабрь 1924 года»; если так, то Бета отправился во Францию в последние дни 1924 г. В то же время, 7 февраля и 19 апреля 1925 г. в белградском «Новом времени» были напечатаны, соответственно, небольшой очерк о Колчаке и рассказ «Последняя встреча».

¹³ Берберова Н. Смерть Буткевича // Последние новости (Париж), 1931, № 3816, 3 сентября. С. 3.

¹² Часовой (Париж), 1931, № 66, 15 окт. С. 27. У русских исследовательниц — Кириллова, Н. Гребенюкова (см.: Гребенюкова Н. Одиночество в раме: Судьба и творчество Бориса Беты // Словесница искусств (Хабаровск). 2010, № 1 (25). С. 80; она же. Чужая сторона // Иные берега. 2017, № 1 (45). С. 52) традиционно и ошибочно — «Консежион».

свое тело в анатомический театр.

Посмертная судьба Б. Буткевича сложилась так же несчастливо, как жизнь. В 1934-1935 гг. шанхайские друзья поэта напечатали в двух выпусках альманаха «Врата» рассказы «Лель» и «Пепел» и стихотворения «Лошадь Паллада», «Голос», «Маньчжурские ямбы» и «Вестник». Спустя 65 лет первые три стихотворения были перепечатаны в антологии «Русская поэзия Китая» (М., 2001). Наконец, в первый том хрестоматии «Литература русского зарубежья: Восточная ветвь» (Благовещенск: Изд. АмГУ, 2013) были включены шесть рассказов — единственная сколько-нибудь солидная посмертная подборка творений Бориса Беты.

К сожалению, никто из так или иначе писавших о Бете современных авторов и университетских исследователей — располагающих к тому же широкими возможностями, включая доступ в архивы — не задумался о необходимости хотя бы с относительной полнотой представить читателям творческое наследие этого бесспорно незаурядного поэта и писателя. Лишь с появлением в 2018 г. первого издания настоящего собрания появились основания говорить о возвращении произведений Б. Буткевича-Беты к читателям.

Об «относительной полноте» мы упомянули выше не случайно, поскольку рассказы и стихотворения Буткевича-Беты рассеяны по мало-, а порой и вовсе недоступным или не сохранившимся владивостокским и китайским периодическим изданиям 1920-х гг. Для независимого исследователя трудности становятся подчас непреодолимыми: это и отсутствие полных подборок дальневосточной и китайской периодики в крупнейших библиотеках и архивах России и зарубежья, и физическая невозможность сплошного просмотра находящихся в книгохранилищах Дальнего Востока и Китая экземпляров либо получения консультаций по ним, и отсутствие библиографий, и бюрократические препоны, не говоря уже о немалых и «безвозвратных» финансовых затратах.

По указанным причинам, при подготовке нашего издания, к примеру, не удалось обнаружить некоторые заведомо опубликованные рассказы и стихотворения владивостокского и китайского периодов; не выяснена судьба ряда рассказов, поэм и баллад, упоминаемых в письмах Б. Беты (вероятно, многие из них следует считать утраченными). Поэтому предлагаемое в данном издании собрание, конечно, нельзя охарактеризовать как максимально полное или близящееся к полноте. Вместе с тем, настоящее собрание, выходящее сейчас вторым и существенно дополненным изданием, можно смело называть *представительным*, и в этом смысле поставленную составителем и издательством перед собой задачу можно считать выполненной.

М. Фоменко

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в данный том произведения Б. Беты и тексты других авторов, за исключением оговоренных случаев, публикуются по первоизданиям либо рукописям; орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Как правило, частые в газетной и журнальной периодике 1920-х гг. опечатки исправлялись безоговорочно.

На с. 5 — фотопортрет Б. Беты из архива Т. А. Баженовой в Музее-архиве русской культуры при Русском Центре в Сан-Франциско (далее — МРК). Пользуясь случаем, составитель и издательство выражают глубокую благодарность куратору МРК И. Франкьену за помощь в работе и предоставленные для публикации материалы.

Труба

Впервые: *Голос Родины* (Владивосток). 1921. 7 апреля.

Лошадь Паллада

Публикуется по: *Врата* (Шанхай). 1934. Кн. 1. Впервые под назв. «Военные стихи» в владивостокских газ. *Голос Родины* (декабрь 1921) и *Вечерняя газета* (май 1922).

Ода солдату

Публикуется по машинописи с рукописными вставками из архива Т. А. Баженовой (МРК).

«*A mes chers compagnons d'armes*» — французская надпись на монументальных чугунных воротах, воздвигнутых по приказанию Александра I в 1818 г. в Царском Селе в честь побед над Наполеоном (проект архитектора В. П. Стасова). Русский вариант надписи на тех же воротах гласит: «Любезным моим сослуживцам».

Душа и сердце

Впервые: *Юнь* (Владивосток). 1921. № 1, февраль.

Эпиграф взят из стих. И. А. Бунина «У могилы Вергилия» (1916).

Вестник

Публикуется по: *Врата* (Шанхай). 1935. Кн. 2.

«О лебедях, направившихся к югу...»

Впервые: *Голос Родины* (Владивосток). 1921. 11 декабря.

Прошлое

Впервые: *Юнь* (Влаивосток). 1921. № 1, февраль.

Трама — трамвая.

Мерелиза — так у автора. Имеется в виду знаменитый универсальный магазин «Мюр и Мерилиз».

Трамблэ — также Трамбле, известная кондитерская на углу Кузнецкого и Петровки.

«*Девятая муза*» — в 1910-х гг. кабаре в Камергерском пер.

Двухнедельник / «*Дни и труды*» — т. е. «Труды и дни», выходивший в 1912-1916 гг. журнал символистского изд-ва «Мусагет»; вопреки сказанному, на самом деле был изначально заявлен как «двухмесячник».

«Ямб упадает — плавный звон...»

Впервые: *Современник* (Сан-Франциско), 1924. № 1. Публикуется по рукописи из архива А. В. Ревоненко (ХКМ).

В печ. версии расхождения: ст. 1 — «...звон!», ст. 2 — «И видишь...»

«Здорово, снег. С утра твой полусвет...»

Публикуется по: Гребенюкова Н. Одиночество в раме: Судьба и творчество Бориса Беты // *Словесница искусств* (Хабаровск). 2010. № 1 (25).

Петербургские стансы

Публикуется по рукописи из архива Т. А. Баженовой (МРК). На том же листе приписано стих. «Молитва», кот. может принадлежать Б. Бете либо М. Щербакову:

О смерти немного скажешь,
И становишься вдруг злей —
И на море ветер сажу
Райского сна милей.

Я мучаюсь от смущенья,
И, детской тоской томим,
Рисуя твои движенья,
Сияющий серафим.

В раю навсегда прекрасно.
Но райские соловьи
Поют и поют напрасно:
И им не забыть земли.

И запах полыни горький,
И пыль летит в глаза, —
Твои и твои только
Господи, образа.

Возлюбленной поцелуя
Неизъяснимый вкус...
О, нет, не разлюблю я
Юдоли бедный груз!

Сны

Впервые: *Восток* (Владивосток). 1921. № 1, январь.

N'est ce pas — Не так ли? (*фр.*).

Каменя

Впервые: *Серебряный голубь* (Владивосток). 1922. № 3, апрель.

Память

Впервые: *Восток* (Владивосток). 1921. № 1, январь.

Образ

Впервые: *Восток* (Владивосток). 1921. № 1, январь.

Соседство

Впервые: *Серебряный голубь* (Владивосток). 1922. № 4, апрель.

«Какой-то голос постоянный...»

Публикуется по: Гребенюкова Н. Одиночество в раме: Судьба и творчество Бориса Беты // *Словесница искусств* (Хабаровск). 2010. № 1 (25). Возможно, это и следующее стихотворения являются фрагментами более крупного произведения.

«И ветер развевает флаги...»

Публикуется по: Ревоненко А. В. <Борис Бета>. Архив А. В. Ревоненко (ХКМ).

См. вариант в «Автобиографии» Вс. Иванова (*Дальний Восток*. 2013. № 5): «И в то же время — Владивосток — это порт, выход КВЖД в море, пароходы и военный флот, иностранные войска, разноцветные флаги — американцы, французы, англичане, итальянцы. // Чрезвычайный сумбур, сдвинутые мозги и позвонки с места, угар и в людях, и в душах, и в головах... // Из стихов Б. Беты (Буткевича):

И ветер развевает флаги,
Показывает их цвета!
Не город, а какой-то лагерь,
И лагерная суета...
И тут же возле, с нами рядом
— Солдатский ряд:
— Японцы, угольные взглядом —
Опять смешливо говорят!»

Написанное в тайфун

Впервые: *Серебряный голубь* (Владивосток). 1922. № 2, март.

Доброе сердце

Впервые: *Вечерняя газета* (Владивосток), 1922, август. Публикуется по: Ревоненко А. В. <Борис Бета>. Архив А. В. Ревоненко (ХКМ).

Газетная хроника

Публикуется по: Ревоненко А. В. <Борис Бета>. Архив А. В. Ревоненко (ХКМ).

Скука

Публикуется по машинописи из архива Т. А. Баженовой (МРК).

Ветра и облака

Впервые: *Серебряный голубь* (Владивосток). 1922. № 1, март.

Разговор

Впервые: *Серебряный голубь* (Владивосток). 1922. № 1, март.

Фокстротная поэма

Впервые: *Парнас между сопок: Альманах*. Владивосток, 1922.

В экз. В. А. Слободчикова (РГБ) приписанный автором в скобках вар. строки «Протяжное оркестр ныл»: «Поющий голос весел был». На с. 3 того же экз. инскрипт Б. Беты: «Зачеркнутая строка эта; / Написанная в тихий вечер / И при желтом абажуре / Пускай напомнит этот вечер / И за столом Бориса Бета / Стихи слагающего хмуро. 8 сентября 1924 Shanghai» (см.: Коллекция «русского харбинца». Каталог собрания В. А. Слободчикова / РГБ: Отдел ли-

тературы русского зарубежья. М.: Пашков дом, 2006).

Публикация альманаха и конкретно поэма Б. Беты вызвали ряд критических отзывов в газ. Владивостока. Любопытно отметить, что газ. *Владиво-Ниппо* даже анонсировала выход «Парнаса между сопок», особо выделяя текст Беты: «“Гвоздем” номера, несомненно, будет совершенно своеобразная поэма “Фокстротная любовь” <sic> Бориса Бета. Мастерство поэта в этой вещи достигает филигранной тонкости. Вся поэма, несмотря на чрезвычайно реальный сюжет, пронизана голубоватыми акварельными тонами, в нежности соперничающими с мастерством Пастернака». В номере *Владиво-Ниппо* от 15 апреля некто Дукс опубликовал большую рецензию, обратив внимание на царящие в альманахе мотивы «тоски и мистики».

«Изящна и выдержана “Фокстротная поэма” талантливого Бориса Бета, — писал критик. — Здесь на подобающем фоне северянинских “мотокаров”, бензинового угара и фокстрота декадентский надлом “белой” души, на плечах которой (души)

...был синий шарф,
Концами спущенный за пояс.

Но это неотъемлемая неизбежность стиля, создающего настроение. В общем стих поэта прост и идет к сердцу. В нем мотивы заглушенной тоски и горечи перед измельчавшей жизнью, старинные байроновские, вечно новые мотивы: Чайльд-Гарольд жив и танцует фокстрот.

Задумчивость и легкая простота Бета изобличают в нем одного из поэтов “Божьей милостью”».

Поэт, журналист и критик Н. Светлов писал:

«Женщина — “возлюбленная всех поэтов”, плывущая над домами, как облачный призрак Блока; женщина, ставящая ногу “в желтом ботинке на высохший тротуар”, как на грудь поверженного раба; наконец, женщина, переступившая некую страшную грань в служении своим телом миру-мужчине. Борис Бета — “фокстротная поэма”. Поэт поет, ломая “штамп” речи; “изнеможен рота” вместо изнеможенного рта, “поворот явился обликом”, “лик нежен пудрой голубой”. Такое конструирование образа, как видит читатель, указывает, что мы имеем дело с хлебниковским влиянием.

В смысле стилистического “изыска” поэт связан с футуристами типа Пастернака и Асеева, тоже учениками Хлебникова. “Лик нежен пудрой голубой» — очень хорошо; иногда довольно бессильно — “и над ушами мед без соты”, рыжеватые волосы, что ли? Б. Бета силен там, где он касается образов, резко ему резонирующих. В этих местах поэма — совершенно самостоятельное и высоко напряженное творчество. Поэт очарован развратной, изнеможенной и уже гибнущей женщиной, не возбуждающей здоровой чувственности, а именно чувственность упадочную, старческую: “И, право, больше старики / Оглядывались вам на плечи, / На угловатость, худобу, / Изнеможение разврата, / И, пудрой бледная, в гробу / Представились вы очень внятно”. Умело и тонко возводит поэт “в перл создания” эту “уличную”, и здесь он ярко показывает всю силу своего таланта. Поэт идет по двум путям. Развивает чувственное очарование от этой доступности, от этой несопротивляемости, ибо доступность, переходящая все границы, может, оказывается,

очаровывать, как и прекрасная недосыгаемость Блоковской Дамы. Параллельно с этим приемом поэт развивает другой: указывая на синеватость пудры (чувствуется трупность), на изнеможение, на возможность безнаказанно обидеть, он возбуждает жалость, подводит свою героиню под категорию обреченности. И все это на фоне тоскующего и жаждущего духа творца, когда белая его душа “Сквозь дрему встала, беспокоясь, / Расправила свой синий шарф, / Концами спущенный за пояс. / И я, очнувшись, закурил, / Еще задумался под дымом...” Такова женщина Беты. Она очаровывает, но это очарование царапающее, ибо оно болезненно, хотя, конечно, искусству нет дел до того, во что оно влюбляется» (*Вечерняя газета*. 1922. 22 апреля).

Голос

Впервые: *Рубеж* (Харбин), 1930, № 42. Публикуется по: *Врата* (Шанхай). Кн. 1934. Кн. 1.

В машинописи из архива Т. А. Баженовой (МРК) небольшие разночтения в пунктуации, стр. 8 — «Дышу томительным недугом»; здесь стих. датировано «Коломбо. Ноябрь 1924».

Рассказ

Публикуется по машинописи из архива Т. А. Баженовой (МРК).

На отъезд

Впервые: *Восток* (Владивосток). 1921, № 1.

Усадьба

Впервые: *Родная нива* (Харбин). 1925, № 2.

Сердце

Публикуется по рукописи из архива А. В. Ревоненко (ХКМ).

«Разбудит, радует...»

Публикуется по рукописи из архива А. В. Ревоненко (ХКМ). Стих. написано на обороте фотографической открытки-портрета Б. Беты.

Баллада о чужом небе

Публикуется по рукописи из архива Т. А. Баженовой (МРК).

На аттике — здесь: в мансарде, от *англ.* attic.

Envoi — посылка, краткая строфа, заключающая балладу.

Маньчжурские ямбы

Публикуется по: *Врата* (Шанхай). 1935. Кн. 2.

Кан — обогреваемая горячим воздухом лежанка-дымоход в старых крестьянских домах северного Китая и Кореи.

Путешествие по Китаю

Публикуется по рукописи из архива А. В. Ревоненко (ХКМ).

Toi, qu'importune... laisse — Исправлено неверное написание эпиграфа «*Toi qu'importe*») из сб. «*Poésies érotiques*» (1778-1781; кн. IV, элегия IX) французского поэта Э. де Парни (1753-1814); в вольном пер. Д. Давыдова: «О ты, смущенная присутствием моим / Спокойся: Я бегу в пределы отдаленны!»

Жена

Публикуется по машинописи из архива Т. А. Баженовой (МРК).

Ковдорский тан — Тан — средневековый дворянский титул в Шотландии; тан Ковдора (Кавдора) — титул шекспировского Макбета.

Стимера — парохода, от *англ.* steamer.

Банкок, Сполато — так у автора.

Тайны безымянной батареи

Впервые: *Новая вечерняя газета* (Владивосток). 1923, № 63, 24 января (предисловие и пролог), № 66, 27 января (гл. I), № 68, 30 января (гл. II), № 69, 31 января (гл. III), № 72, 3 февраля (гл. IV), № 73, 5 февраля (гл. V), № 77, 9 февраля (гл. VI), № 78, 10 февраля (гл. VII-VIII), № 79, 12 февраля (гл. IX), № 80, 13 февраля (гл. X).

Поскольку развернутый комментарий к роману не входит в наши задачи, мы ограничимся в данном случае некоторыми сведениями общего порядка. События романа датируются легко: это период между маем 1921 и летом 1922 г., когда во Владивостоке в результате «белого» восстания власть находилась в руках Временного Приамурского правительства во главе с С. Д. Меркуловым (возведение памятника именно этому «почетному гражданину» обсуждается на заседании Городской думы в главе III). Часто упоминаемый в романе адрес «Полтавская № 3» — «меркуловская» контрразведка (этот адрес, к слову, использован как название нескольких главок в книге Ю. Семенова «Пароль не нужен» — первом романе писателя, где появился пресловутый разведчик Исаев-Штирлиц).

Читатель, никогда не бывавший во Владивостоке и не интересовавшийся жизнью этого города в период Гражданской войны, едва ли оценит прочий «местный колорит». Однако вряд ли имеет смысл пускаться в долгие объяснения городской географии в духе того, что «Светланка или Светланская — центральная улица Владивостока», а «гостиница “Версаль” была построена в начале XX века и некогда являлась самой фешенебельной в городе». Стоит, пожалуй, лишь сказать несколько слов о подарившей роману название Безымянной батарее. Это — известный с 1862 г. пост береговой артиллерии, в 1899-1901 гг. перестроенный в бетонную позицию с подземными погребам и орудейными дворами, а позднее пришедший в упадок (в настоящее время — часть музея «Владивостокская крепость»).

Немало в романе и упоминаний различных представителей литературно-журналистской среды Владивостока начала 1920-х гг.; смысл некоторых из этих аллюзий сегодня восстановить достаточно трудно, если вообще возможно. Авторы развлекались вовсю, поддразнивая и коллег по цеху, и друг друга. Б. Бета поминает «известного всему городу профессора» с кьеркегоровским псевдонимом «Виктор Эремита» — философа Л. А. Зандера (1893-1964), кстати говоря, и в самом деле корреспондента А. М. Ремизова, и подтрунивает над литератором и философом Вс. Н. Ивановым (1888-1971), будущим эмигрантом в Китае, вероятным советским агентом, затем «возвращенцем». А. Несмелов подшучивает над Бетой, превращая его в персонажа романа, молодого «бездельника», детектива-любителя и одурманенного поклонника «китай-

ского “самовара”» (как можно полагать, что речь идет отнюдь не о еде, приготовленной в китайском котле-хого...) Бета в долгу не остается: «Пусть на Фоккере летает в позднее время в Улисс Арсений Несмелов, если, однако, выдержит это путешествие его лирическое сердце».

Улисс — бухта на южном побережье Владивостока, описанная в стихотворениях Несмелова. «Жизнь в городе мне стала не по карману. Я перебрался за Чуркин мыс, за сопки, в бухту Улисс. Где жить, мне стало уже безразлично. У бухты этой было, по крайней мере, красивое имя. Рядом с моим домиком, еще выше в гору, находилось кладбище, и на нем в двух лачугах ютились сестры женского монастыря. При монастыре жил батюшка, восьмидесятилетний слепой священник, все еще отправлявший требы. Я любил слушать, как он служит на могилах» — вспоминал Несмелов (см. Несмелов А. О себе и о Владивостоке: Воспоминания // Рубеж (Владивосток). 1995. № 2. С. 234-236). «Зимой я стал жить тем, что, пробив луночку во льду бухты, ловил навагу. Профессия, ставшая модной во Владивостоке среди “бывших”. Моим соседом по луночке был старый длинноусый полковник. Таскали рыбку и ругали большевиков, а десятого числа каждого месяца являлись вместе в комендатуру ГПУ, коей были взяты на учет».

А рядом в главке Беты — «субмарина ждет давно у подножья Безымянной батареи Н. В. Кока». О фельетонисте Коке-Панове, редакторе «Руля», расстрелянном в 1924 г. также вспоминал Несмелов (там же, с. 232-233). Субмарина Кока не дождалась. Не эта ли фраза Беты промелькнула в памяти Несмелова, когда он писал в харбинских стихах 1942 г. о «затонувших субмаринах»?

Шутливый и оборванный буквально на полуслове роман сохранил дух этих небывалых и жестоких времен — и много больше. Хотя авторы прекрасно отдавали себе отчет, что пишут развлекательную газетную прозу, некоторые строки романа дышат подлинным вдохновением.

С. 64. ...*Ллойд-Джорджа* — Имеется в виду британский политик Д. Ллойд Джордж (1863-1945), в 1916-1922 гг. премьер-министр Великобритании.

С. 68. ...*Кунст и Альберс* — крупнейший торговый дом, основанный в 1864 г. во Владивостоке немцами Г. Кунстом (1836-1905) и Г. Альберсом (1838-1911); просуществовала в СССР до нач. 1930-х гг, позднее продолжал действовать в Китае. История фирмы завершилась лишь со смертью сына одного из основателей А. Альберса в 1960 г.

С. 68. ...*causerie* — непринужденная беседа (фр.).

С. 72. ...«*Веблей*» — револьвер, производившийся с 1870 г. британской компанией *Webley & Son* (с 1897 *Webley & Scott*); в 1887-1963 гг. состоял на вооружении стран Британского содружества.

С. 73. ...«*а дух возьмут служить в библиотеках*» — цит. из стих Б. Беты «Соседство» (см. с. 27 наст. изд.).

С. 74. ...*власть двух прохвостов* — т. е. С. Д. Меркулова (1870-1957) и его брата Н. Д. Меркулова (1869-1945), министра военно-морских и иностранных дел Временного Приамурского правительства.

С. 80. ...*трэнк* — от *англ.* *trunk*, дорожный сундук, чемодан.

С. 81. *Дозо, дозо...* — здесь: пожалуйста, входите (*яп.*).

С. 82. ...*pro domo sua ... persona dramatis* — в личных интересах ... действующее лицо (*лат.*).

С. 82. ...*слова одного чеховского дьякона* — подразумевается фраза из письма А. П. Чехова В. В. Билибину (28 февр. 1886): «Все на свете превратно, коловратно, приблизительно и относительно».

С. 83. ...*in corpore* — в полном составе (*лат.*).

С. 85. ...*Соваж* — неверное, но распространенное в России наименование автоматического пистолета производства американской *Savage Arms Company*, впервые выпущенного в 1907 г.

А. Несмелов. Случай

Публикуется по: *Дальневосточное обозрение* (Владивосток), 1921, 1 января. Поздний сокращенный и видоизмененный вар.: *Рупор* (Харбин), 1922, 23 апреля).

А. Несмелов (А. И. Митропольский, 1889-1945) — писатель, журналист, крупнейший поэт «русского Китая». Участник Первой Мировой и Гражданской войн. В 1924 г. нелегально перешел советско-китайскую границу, жил в Харбине, широко публиковался в русскоязычной периодике. Запятнал свое имя пропагандой «Всероссийской фашистской партии». Был арестован в августе 1945 г. и в декабре умер в пересыльной тюрьме в Гродеково.

С. 94. ...*Ворт или Пакэн?* — Ч. Ф. Ворт (*Worth*, 1825-1895) — знаменитый французский модельер британского происхождения, основатель дома моды, просуществовавшего до 1956 г. Пакэн — см. в т. 1 прим. на с. 188.

А. Несмелов. Авантюрист

Публикуется по сб. А. Несмелова *Стихи* (Владивосток, 1921).

С. 95. ...*записки флорентийца Бенвенуто* — «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции», прославленное автобиографическое сочинение итальянского скульптора, ювелира, музыканта, поэта и авантюриста Б. Челлини (1500-1571).

А. Несмелов. Урок

Впервые: *Фиал* (Харбин). 1921. № 1.

М. Щербаков. Современность

Опубликовано в сб. М. Щербакова *Отгул: Стихи* (Шанхай, 1944). Публикуется по: *Русская поэзия Китая* (М., 2001).

В авторской машинописи из архива Т. А. Баженовой (МРК) разночтения в стр. 8 и 11: «в мгновенный рев столбцов газет», «в углу листа — простой набор» и датировка: «Владивосток. 1922».

М. В. Щербаков (ок. 1890-1956) — поэт, прозаик, журналист, фотограф. Военный летчик, участник Первой мировой войны. После войны получил франц. гражданство, жил во Вьетнаме, в 1920-22 во Владивостоке, где редактировал газ. «Крестьянская газета» и «Русский край». В 1922 г. эвакуировался в Шанхай, где позднее возглавил Содружество русских работников искусств «Понедельник». Был вдохновителем и организатором многочисленных альманахов и сборников, публиковался как поэт, прозаик, переводчик и мемуарист. Много путешествовал. После Второй мировой войны держал фотостудию в Сайгоне; находясь в депрессии и страдая нервным расстройством, был перевезен друзьями в Париж, после пребывания в психической больнице покончил с собой.

Л. Гомолицкий. Памяти Бориса Буткевича

Впервые: *За Свободу!* (Варшава), 1931, № 243 (3577), 13 сентября.

Л. Н. Гомолицкий (1903-1988) — русский и польский поэт, критик, эссеист, художник-график, литературовед. Публикуемое стихотворение навеяно напечатанной в газ. «За Свободу!» 9-10 сентября 1931 г. статьей Д. Философова «Человек без паспорта: Памяти Бориса Буткевича» (см. ниже).

А. Несмелов. Борис Бета-Буткевич

Впервые: *Рупор* (Харбин), 1931, 11 октября.

С. 101. ...атамана *Калмыкова* — И. П. Калмыков (1890-1920) — войсковой атаман Уссурийского казачьего войска, участник Первой мировой и Гражданской войн, чья запутанная и кровавая карьера завершилась арестом в Китае и гибелью при попытке к бегству.

С. 103. ...*В. Н. Иванова* — Вс. Н. Иванов (1888-1971) — писатель, поэт, философ, культуролог, автор исторических повестей и романов. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1922-1945 гг. жил в эмиграции (Китай, Корея, Манчжурия), отличался близкими к евразийским взглядами. В 1945 г. вернулся в СССР, жил в Хабаровске. Согласно ряду публикаций, в период эмиграции являлся советским агентом.

С. 103. ...*Георгии Маслове* — Г. В. Маслов (1895-1920) — одаренный поэт, литературовед-пушкинист; служил в армии и политических организациях А. В. Колчака, умер от сыпного тифа в Красноярске.

С. 103. ...я посвятил Бете стихотворение — Речь идет о стих. «Авантюрист» (см. выше).

С. 103. ...я жил в ту пору ... в районе бухты Улисс — См. выше комментарии к коллективному роману «Тайны безымянной батареи».

С. 104. ...*Одоевцева* — И. В. Одоевцева (Гейнике, 1895-1990), поэтесса, прозаик, мемуаристка, жена Г. Иванова; с 1922 г. жила в эмиграции, в основном во Франции, в 1987 г. вернулась в СССР.

С. 104. ...сотруднику «Современных записок» *М. О. Цетлину* — М. О. Цетлин (1882-1945) — поэт (псевд. Амари), издатель, меценат; в парижском журн. «Современные записки» (1920-1940) руководил отделом поэзии. В 1940 г. покинул Францию, через Португалию добрался до США, где стал одним из основателей «Нового журнала».

М. Щербаков. На смерть Б. В. Буткевича

Впервые: *Понедельник* (Шанхай). 1931. № 2.

С. 105. ...*Леонидом Ециным* — Л. Е. Ецин (1897-1930) — поэт, журналист, участник Гражданской войны, автор единственной кн. стихов «Стихи о таежном походе» (Владивосток, 1921). В 1922 г. покинул Владивосток, с 1923 г. жил в Харбине, злоупотреблял алкоголем и умер в крайней нищете.

С. 106. ...поэме «Взморье, где я жил» — публикация этой поэмы не обнаружена.

Н. Берберова. Из книги «Курсив мой»

Впервые: Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. München, 1972.

Н. Берберова, видимо, писавшая по памяти, допускает в этом отрывке целый ряд ошибок: в 1926 г. Б. Буткевич-Бета жил уже во Франции, а «несостоявшаяся»

ся встреча» в Марселе произошла в 1927 г. В журн. «Новый дом» (№ 2, 1926) был опубликован рассказ Буткевича «О любви к жизни».

З. Гиппиус. Из письма к Н. Берберовой

Публикуется по: Гиппиус З. Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ann Arbor: Ardis, 1978.

Письма З. Н. Гиппиус (1869-1945) свидетельствуют о большом интересе к Буткевичу в кругу Мережковских и Берберовой-Ходасевича, а также попытках последнего найти работу в Париже и Каннах и обзавестись паспортом. К примеру, 1 сентября 1927 г. Гиппиус спрашивает свою корреспондентку: «А что же Буткевич? Вы видели его в Марселе? Крамаров его ждет, всегда о нем спрашивает»; 16 октября сообщает Ходасевичу: «А вот новость: приехал Буткевич и заработал у Крамарова»; 17 октября (Берберовой): «Вчера был такой робкий закат у моря. Смотрела на него — и Буткевича пропустила. Ничего, увижу еще. Буду говорить о вас...»; 26 октября (Ходасевичу): «Так и не видела еще Буткевича, благодаря моей болезни. Но говорят — он дик, держится одиночкой и всех “презирает” (работу тоже)». После приведенного нами большого письма, написанного в конце октября — начале ноября 1927 г., Гиппиус вновь вспоминает о Буткевиче лишь в письме к Берберовой от 11 ноября 1929 г.: «И даже цвет русской литературы рассыпан по Ривьере <...> вплоть до Буткевича, который сегодня был у Володи. Жаловался, что вы с ним “обратились”». К сведениям, приводимым в цитируемом нами письме Гиппиус — как известно, склонной к преувеличениям, раздуванию слухов и намеренным мистификациям — следует относиться с большой осторожностью.

С. 111. ...*Володи* — Имеется в виду поэт и критик В. А. Злобин (1894-1967), литературный секретарь Мережковских.

С. 111. ...*эксцессник* — здесь: скандалист.

С. 111. ...*Крамаров* — каннский знакомый Мережковских.

С. 111. ...*Вл. Фел.* — т. е. В. Ф. Ходасевич.

С. 111. ...*Ренникова* — А. М. Ренников (Селитренников, 1882-1957) — беллетрист, журналист, сотрудник газеты «Возрождение».

С. 111. ...*Семенову* — Ю. Ф. Семенов (1873-1942) — редактор газеты «Возрождение» с 1927 г. и вплоть до закрытия издания в 1940 г.

Н. Берберова. Смерть Буткевича

Впервые: *Последние новости* (Париж), 1931. № 3816, 3 сентября.

Некрологическая статья Н. Берберовой произвела значительное впечатление не только на друзей Б. Буткевича из числа «русских китайцев». В Варшаве публицист, критик и политический деятель Д. В. Философов (1872-1940) опубликовал в двух номерах газеты «За Свободу!» (1931, № 239 (3573), 9 сентября; № 240 (3574), 10 сентября) объемистую статью «Человек без паспорта: Памяти Бориса Буткевича», проникнутую негодованием по адресу «несправедливого и нелюбовного отношения наших писательских “генералов” к литературным “низам”». Поскольку значительное место в этом тексте занимают не совсем относящиеся к делу рассуждения и цитаты из статьи Берберовой и рассказов Буткевича, приведем лишь некоторые отрывки:

«Остается еще одна невыясненная тайна.

А именно, почему у Буткевича не было документов и почему он не мог их получить?

<...>

Я очень скептически отношусь к эмигрантским организациям, особенно парижским, но не настолько же они беспомощны и жестоковыйны, чтобы не помочь бывшему офицеру русской армии, бывшему участнику гражданской войны из живого трупа вернуться в состояние живого человека.

<...>

Как бы ни были мы, эмигранты, неправы, все-таки документы (правда, паршивые) получить мы можем.

Как бы ни были жестоковыйны наши эмигрантские организации и разные женеvские совещания о “сиро-халдейских и армянских беженцах”, все-таки хоть какая-нибудь стыдобушка у них есть.

Нет, тут дело, очевидно, сложнее.

Это чувствует и г-жа Берберова, но говорит об этом намеками. Или она сама не знает всего, до конца, или считает неудобным об этом говорить в печати.

<...>

В первом рассказе <“О любви к жизни”> Буткевич описал то, что есть, рассказал, как его жизненная сила, его “любовь к жизни” заставляет его признать “данное”, признать эту кошмарную жизнь реальностью.

Во втором, предсмертном, рассказе <“Возвращение Люсьена”> он уже считает жизнь — сном, и в прикровенной форме как бы поясняет, почему у него нет документов, почему он человек без паспорта. Если марсельский адвокат превратился в беспаспортного чернорабочего благодаря последствиям контузии на войне, благодаря причине чисто патологической, то не пребывал ли он, Борис Буткевич, на положении бродяги, потому что он слишком хорошо помнил о том, чем он был, слишком помнил о тех непреодолимых препятствиях, которые мешали ему стать человеком с паспортом?

<...>

Буткевич понял, что пять лет он жил во сне, со времен Шанхая и Харбина, откуда он, может быть, выехал “зайцем”, на каком-нибудь паршивом пароходе, с фальшивым паспортом. И, может быть, отказаться от фальшивого паспорта, получить настоящий документ ему нельзя было не только по причинам внешним, общепонятным, но и по причинам внутренним, известным лишь ему одному.

Здесь есть какая-то тайна, выяснить которую было бы очень важно из уважения к памяти покойного. Человек он был недюжинный, судьба его сли-

шком необычна, чтобы его личная драма была незначительна и не поучительна для всех нас.

Но остался у нас и еще один долг перед покойным. Это — пошарить во всех парижских редакциях и поискать непринятые его рукописи.

В первую голову “Голубого павлина”.

Надо эти рукописи собрать и непременно издать. Такие человеческие документы слишком драгоценны.

Для будущей истории русской эмиграции судьба Буткевича, его томления и страдания куда важнее, нежели история “Р.Д.О.” или наши “Дни русской культуры”.

Если зарубежный “День русской культуры” окончательно сведется к зызыкинскому красноречию и “Птичке Божией не знает”, то пропади этот день пропадом!

А если бы издавались “материалы” по зарубежной культуре, если бы издан был “Голубой павлин” и то “ненаписанное”, написав которое Борис Поплавский хотел бы стигнуть, эмиграция совершила бы подлинное культурное дело и оправдала бы существование своего пресловутого “Дня русской культуры”.

Гибель Буткевича вопиет к небесам.

Его биография, даже если в ней есть что-нибудь “не для печати”, слишком трагична, чтобы мы равнодушно прошли мимо нее.

Почтив его биографию и его гибель, мы бы вместе с тем почтили память многих, многих других молчаливых-страдальцев, имена же их Ты, Господи, веши!

А если такие биографии нам безразличны, то лучше не жить».

Позднее, уже после смерти талантливейшего поэта молодого поколения эмиграции Б. Поплавского (1903-1935), имена его и Буткевича сближал В. Ходасевич: «Писатели старшего поколения за годы эмиграции потеряли троих <...> Молодежь в лице Поплавского тоже теряет уже третьего. Равенство просто страшное, если принять во внимание, что смерти естественней искать себе жертв среди старших. Но еще страшнее, что из этих троих молодых ни один не умер естественной смертью. Первый, одареннейший беллетрист, Буткевич, умер буквально с голоду в марсельской больнице» (Ходасевич В. О смерти Поплавского // Возрождение (Париж), 1935, № 3788, 17 октября).

На склоне лет о смерти Б. Беты-Буткевича вспоминал в мемуарной кн. «Поля Елисейские» (1983) писатель и мемуарист «младшего» литературного поколения эмиграции В. С. Яновский (1906-1989):

«В начале тридцатых годов многие читатели “Последних новостей” обратили внимание на ряд статей, подписанных, кажется, инициалами. Некая матушка М. разъезжала по Франции и описывала русский провинциальный быт; судьба этих заброшенных “колоний” была во многом печальнее нашей. Там преобладали нищета, бесправие, пьянство и доносы. Особенно волновала глава, посвященная Борису Буткевичу (в Марселе), которого автор представлял в виде безвременно погибшего типичного русского бродяги: он работал грузчиком, спился, заболел и умер (совсем как у Горького). Корреспондент лично, насколько помню, побывал в морге вместе с друзьями покойного, которые опознали труп Буткевича, маринуемого для анатомического театра.

“А между тем, — цитирую по памяти статью, — уверяли, что Буткевич был

культурным человеком, сочинял рассказы, которые печатались даже в «Числах», и его хвалили известные наши критики”... Увы, все это совершенно соответствовало истине.

Буткевич до “Чисел” печатался еще в другом журнальчике, редактируемом Адамовичем и, кажется, Винавером. Помню там его рассказ о бывшем гвардейском офицере, спивающемся в Марселе; это, вероятно, лучшее произведение зарубежья того периода.

Я знал, что Буткевич исчез, растворился в Марселе, но такой дикий, “поволжский” конец меня ошеломил. Действовал и тон статьи: там были настоящая любовь, забота о человеке, соотечественнике, студенте, офицере, поэте, и в то же время полное отсутствие сентиментальности.

— Кто автор статьи? — допытывался я у знакомых.

И наконец Евгения Ивановна Ширинская-Шихматова мне объяснила:

— Это мать Мария. Бывшая эсерка, террористка, поэтесса, ставшая теперь монахиней особого толка: монахиней в миру!»

С. 112. *...жил в лагере «Виктор Гюго»* — Речь идет о частном «лагере-общечитии» для русских эмигрантов в Марселе. Адрес «Борис Васильевич Буткевич. Boris Boutkevitch, Camp Victor Hugo, Marseille» значится на первой странице рукописи рассказа «Судьба Жоржа Вольпе» (РГАЛИ, ф. 2475, оп. 1, ед. хр. 113).

С. 112. *...И. А. Бунин спрашивал меня в письме* — Письмо от 1 октября 1927 г., приведенное в кн. «Курсив мой». В Русском архиве университета Лидса хранятся три письма Буткевича к Бунину (LRA/MS 1066/2089-2091).

С. 113. *...гарольд-ллойдовские* — от имени знаменитого американского комического киноактера Г. Ллойда (1893-1971).

С. 113. *Вот отрывки из его писем ко мне* — Письма Б. Буткевича к Н. Берберовой сохранились в составе коллекции Б. И. Николаевского в Гуверовском институте (Series No. 233. Box/folder 400).

С. 114. *...«Голубой павлин», затерянный в одной из парижских редакций* — Судя по приведенному выше письму З. Гиппиус, «Голубой павлин» «затерялся» в редакции газ. «Возрождение». Излишне напоминать, что призыв Д. Философова остался без ответа и поиски произведений Б. Буткевича в парижских редакциях так и не были предприняты; однако два «затерянных» рассказа — «Похищение Фернанды» и «Судьба Жоржа Вольпе» (см. т. I) — сохранились и поступили в РГАЛИ в составе редакционных документов парижского журнала «Звено».

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМА

Труба	9
Лошадь Паллада	10
Ода солдату	11
Душа и сердце	14
Вестник	15
«О лебедях, направившихся к югу...»	16
Прошлое	17
«Ямб упадает — плавный звон...»	19
«Здорово, снег. С утра твой полусвет...»	20
Петербургские стансы	21
Сны	23
Камея	24
Память	25
Образ	26
Соседство	27
«Какой-то голос постоянный...»	28
«...И ветер развевает флаги...»	29
Написанное в тайфун	30
Доброе сердце	32
Газетная хроника	33
Скука	34

Ветра и облака	35
Разговор	36
Фокстротная поэма	37
Голос	43
Рассказ	44
На отъезд	45
Усадьба	46
Сердце	48
«Разбудит, радует...»	51
Баллада о чужом небе	52
Маньчжурские ямбы	55
Путешествие по Китаю	57
Жена	59

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РОМАН

Тайны Безымянной батареи	61
--------------------------	----

СТИХОТВОРЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ Б. БЕТЕ

А. Несмелов. Случай	94
А. Несмелов. Авантюрист	95
А. Несмелов. Урок	96
М. Щербаков. Современность	97
Л. Гомолицкий. Памяти Бориса Буткевича	98

НЕКРОЛОГИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. Несмелов. Борис Бета-Буткевич	101
М. Щербаков. На смерть Б. В. Буткевича	105
Н. Берберова. Из книги «Курсив мой»	110
З. Гиппиус. Из письма к Н. Берберовой	111
Н. Берберова. Смерть Буткевича	112
М. Фоменко. Борис Бета. Краткий биографический очерк	115
Комментарии	121

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели
и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и
распространения, извлечения прибыли и т. п.